

КОШАЧИЙ МЁД

Книга экзистенциальных новелл
о котах и не только



ВЛАДИСЛАВ ДИМАЛИСК · НАТАЛЬЯ ПАПЕНКО

Вера Богданова · Владимир Клейнерман · София Малахова
Даня Гольдин · Борис Оболдин · Ирина Данильянц
Наталья Веселова · Эмилия Галаган · Алиса Хэльстром

УДК 000.000.0
ББК 00.00
X 00

Тексты частично печатаются в авторской редакции

**Кошачий мед / сост. Владислав Дималиск, Наталья Папенко. —
Россия, 2019. — 329 с.**

ISBN 000-0-000-00000-0

Эта книга — одиннадцать совсем непохожих историй от разных авторов. Но их объединяет один тонкий, неуловимый вкус. Вкус кошачьего меда, на дегустацию которого вы и приглашены.

Мед этот — не только кошачий, да и не мед он вовсе. Это то, что составляет суть и приятных, и неприятных переживаний, наполняет жизнь и никуда не уходит со смертью.

Кажется, это и есть (только тс-с-с)... Любовь.

***Все права защищены. Никакая часть данной книги не может
быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав***

© Владислав Дималиск, автор,
составление, дизайн, 2019

© Наталья Папенко, автор,
составление, редакция, 2019

© Полина Боттичелли,
иллюстрации, 2019

© Даня Гольдин, автор, 2019

© София Малахова, автор, 2019

© Владимир Клейнерман, автор,
2019

© Вера Богданова, автор, 2019

© Эмилия Галаган, автор, 2019

© Ирина Данильяни, автор, 2019

© Алиса Хэльстром, автор, 2019

© Борис Ободин, автор, 2019

© Наталья Веселова, автор, 2019

Россия, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ДИМАЛИСК

Кошачий мёд: поэма в четырех действиях 3

ДАНЯ ГОЛЬДИН

Енотовый миф: о конце и начале 75

ВЛАДИМИР КЛЕЙНЕРМАН

Степное чучело 88

ВЕРА БОГДАНОВА

Земляничное утро 99

СОФИЯ МАЛАХОВА

На даче 119

ЭМИЛИЯ ГАЛАГАН

Танцуй, рисуй 126

БОРИС ОБОЛДИН

В имени своём да обретешься... 146

НАТАЛЬЯ ВЕСЕЛОВА

Милая Мила 168

НАТАЛЬЯ ПАПЕНКО

Песня тепла 208

АЛИСА ХЭЛЬСТРОМ

Что было потом 219

ИРИНА ДАНИЛЬЯНЦ

Сейчас будет чудо 285

КОШАЧИЙ МЁД

Поэма в четырёх действиях

Владислав Дималиск



ПРОЛОГ

— Однажды я слышал про кошачий мед, — сказал Кай, кутаясь в мех. — Говорят, это самая лучшая вещь, которую можно попробовать в мире.

— Это не так, — ответила Герда, — не лучшая это вещь, да и не вещь вовсе.

— Тогда что это?

— Смотри на меня и слушай внимательно! — серьезно сказала сестра Кая. — Есть кошачья страна, ворота в нее — пустые подвалы да грязные мусорки. Любой кот сумеет отыскать туда дорогу.

— И что это за страна такая?

— Это волшебная страна, глупенький. Все коты там силой и статью своей подобны тиграм и львам, а благородством и умом — лучшим из людей. Ходят они на двух ногах и сочиняют стихи под сенью закатных лесов.

— Герда, постой, а что такое сень закатных лесов?

— Представь, что есть большой-большой и старый-старый лес, который рос как будто бы всегда, такой же безначальный, как и ты сам.

— Ну...

— И этот лес гибнет. Очень медленно гибнет. Гигантские

деревья засыхают, травы жухнут и редуют, цветы увядают, а благородные звери стареют — встретить их становится все сложнее. Но происходит все так медленно, что тебе за короткую жизнь нипочем не заметишь этого божественного увядания. Смертным существам лес представляется вечным.

— Ну...

— Только на закате есть возможность увидеть древнюю печаль волшебной страны. Поэтому я так сказала: «Под сенью закатных лесов». Так говорят поэты. Они любят эту страну, они собираются на опушке леса, кутаются в оранжево-золотые плащи из опавших листьев, вплетают лучи солнца и струи горных ручьев в свои длинные волосы и читают стихи, слагают гимны, танцуют.

— Кажется, я понял. Но я не люблю стихи, они скучные.

— Тебе это только кажется, ты ведь еще совсем маленький. Попробуй почитать стихи, когда подрастешь — быть может, ты изменишь свое мнение. Да и как ты, дурачок, собрался понять кошачий мед? Без поэзии нет никакого кошачьего меда, точнее — без кошачьего меда нет никакой поэзии.

— Как это?

— Нет ничего проще. Кошачий мед — самое ценное, что только есть в волшебной стране. Все стремятся добыть хотя бы капельку, хотя бы крупичку этого меда.

— Как пчелки? Коты с крылышками летают над полем роз. Выглядит, наверное, забавно.

— Не совсем верно, Кай, — Герда рассмеялась. — В волшебной стране есть мирные замки с высокими башнями, есть поля, полные красивейших цветов. Мыши и грызуны там никогда не переводятся, а по сырным холмам текут молочные реки. Если захочешь, в волшебной стране можно вообще ничего не есть и всегда будешь сыт.

— Хорошо там, ну и что мне с того?

Кошачий мёд

— Ты подумай, Кай, зачем тогда коты живут в обычном мире? Грязные, голодные, зачем они мерзнут в подвалах? Зачем терпят людскую жестокость? Я не хочу сказать, что все люди жестоки, но некоторые бывают такими. Зачем коту жизнь в том мире, если он в любой момент может отыскать дорогу в волшебную страну, в которой он будет силен, умен и благороден, в которой он не будет ни в чем нуждаться?

— Они все глупые! Я бы ушел туда сразу и больше никогда оттуда не вернулся!

— Мы все уходим и не возвращаемся. Каждую секунду ты уходишь, и уже нет возврата к предыдущему мгновению, так как нет уже и самого предыдущего мгновения.

— Это обычная философия, Герда. Ты что-то от меня скрываешь.

— Тихо, мой любимый брат, тихо, не торопись. Без философии тоже нет кошачьего меда, точнее — без кошачьего меда нет философии. Я просто хочу, чтобы ты подумал сам.

— Да почему же мне знать, зачем коты живут в двух мирах?!

— Слишком быстро сдаешься, братик. Но я отвечу: конечно же, они живут в поисках меда. Ведь для кота нет ничего слаще кошачьего меда! Только представь: поэты волшебного мира заняты лишь перечислением его благородных свойств, хотя, по правде сказать, я не уверена, что кошачий мед может обладать хоть какими-то свойствами. В лучшем случае, это всего лишь метафоры. Ради самой малой капельки меда коты готовы рождаться, любить, страдать, радоваться, играть, бороться за жизнь и умирать холодной зимой.

— Но ты так и не сказала мне, что это за мед такой?! Вместо того чтобы съесть пойманную мышь, перечисляешь ее благородные свойства. Что такое кошачий мед?

— Если бы я прямо сказала тебе, что такое кошачий мед,

если бы я даже указала в самое сердце кошачьего меда, а я, кстати, уже не раз сделала это, ты бы все равно ничего не понял.

– Ну и дался мне твой кошачий мед! Пойду лучше заберусь на облака и поиграю с луной.

– Тихо, мой буйный братец, не сердись. Давай я предложу тебе игру?

– Игру?

– Да, игру. Во время нее, быть может, ты поймешь, что такое кошачий мед, а может быть, и не поймешь. Это всего лишь игра, и продлится она недолго, не дольше обычной кошачьей жизни. Возможно, ты слишком увлечешься и начнешь воспринимать происходящее всерьез, но, так или иначе, вне зависимости от исхода, это будет всего лишь игрой.

– Звучит страшновато...

– Не бойся, милый брат, я буду рядом с тобой.

– И ради чего ты все это затеяла? – вздохнул Кай. – Ведь меня уже ждут луна, звезды и кометы, им будет скучно без меня. Про кошачий мед ты говорила хорошо, но разве оно того стоит? Ведь повсюду есть столько других прекрасных вещей!

– Это не вещь, Кай, и оно того, конечно, стоит. Ты, между прочим, первым начал этот разговор. Ты захотел попробовать кошачий мед.

– Да, это правда, и я все еще хочу узнать его вкус.

– Тогда поиграем?

Действие первое

КОМОК ШЕРСТИ, УШЕДШАЯ



Оранжевая осень — круговорот листьев, ярко-голубое небо. Кай жмурится. Каю хорошо и тепло — теплая шерстка, теплая земля. Прохладный ветер. Он позволяет полнее ощутить тепло. Тепло снаружи и внутри тепло.

Рядом дом, неизвестно где, и Кай о нем даже не думает, но дом рядом, вот он — пыльный чердак, где можно лежать, вот он — золотистое сено, вот он — прохладное место под столом у пахучих ног, вот он — в этих листьях.

И рядом, всегда рядом Мама, нет, он о ней тоже не думает, но она рядом, всегда рядом, она уже отстранилась, и он уже не сосет молоко и порой все-таки мерзнет под холодным ветром, но она здесь, ходит, большая, не такая большая, как те, у кого большие ноги и теплые руки, но сильная, понятная. Кай смотрит на нее с восхищением и завистью.

Как и на ту, с которой он теперь делит иногда кровать, если его не прогоняют. Она тоже большая, больше мамы, теплая, и часто гладит за ушком, и прижимает к себе, и трогает так хорошо, она листает страницы с картинками, пахнущие пылью страницы с картинками, с картинками-птичками, а Кай смотрит в окно и смотрит на птичек и вспоминает Маму и вспоминает момент и вспоминает, как они бродили вместе по пожухлым листьям, и как все затихло, и он сам замер в напряжении, и птичка, чуть меньше его самого, беззаботно скакала, а в лучах солнца кружились пылинки и журчал ручей, и солнечный блик тогда ударил пронзительным воплем ему в глаз, отразившись от воды, и в тот же миг что-то изменилось, изменился свет, и случился прыжок и сила и слава и мгновение высшей чистоты, и вот птичка уже в зубах Матери, трепыхнулась и угасла. В последний миг он глядел своими любопытными глазами хищника в ее маленькие черные глазки и видел нечто необыкновенное и жуткое.

Кошачий мёд

А теперь холодный снег. А теперь нега и покой в животики, покой за стеклом, примороженным, замороженным, мерзлыми ледяными узорами исходящим, и куски сырого мяса попадают вперемешку с нелюбимой картошкой и сухими пахучими подушечками, чтобы их грызть, и усы уже топорщатся во все стороны, и бегаешь-бегаешь, набегаться не можешь. Было очень больно, несправедливо-больно, когда Кай шел к Маме поиграть и погреться, а она ударила его лапой, несильно ударила, слегка ударила, совсем не больно ударила, но с тех пор он к ней больше не ходит, и они видятся только издали и не перемигиваются больше желтизной немигающих глаз.

Зато он играет с сестрой, которую раньше не любил, только дрался и только царапал, которую он не замечал, только отпихивал прочь. Они катаются целыми днями по ворсистому ковру и царапаются друг с дружкой и кусаются и визжат, и порой до крови, но потом лизут раны и улыбаются. Что же это за блаженство — ночь заходит в пустой холодный дом, и остывающая печь, и вой ветра.

Вот он играет с ней, а она смотрит-смотрит на него синими-синими глазками. И вот она становится грустной-грустной и в середине зимы забивается в темноту в темноту под диван под диван. Люди ходят-смеются и кутаются-прячутся в пледы. Большой, с волосатыми ногами, и его женщина, Кай уже понял это, что он — Большой, а она — его женщина, а та, что прижимала его в тепло, была их котенком, он знал это, да, он знал это. Неужели мать тоже ударила ее лапой? Они смеялись и кушали, пока сестра была под диваном.

Кай шел к ней играть, трогал ее лапой по сухому по носу, но она только смотрела на него большими-большими ясными глазами и даже не мяукала жалобно, но как будто хотела что-то сказать и не могла.

Большой брал ее, она помещалась в его ладони, большой ладони, и силой пытался вставить ей в рот соску, силой пытался накормить ее. Кай мяучил и терся об его пахнущую табаком, и потом, и котлетами, и много чем еще ногу. Большой дымил свою трубку и смотрел на сестру Кая. Кай хотел играть, поднимал хвост трубой. А она скалила зубки и не могла ни есть, ни пить.

Ночью Кай гонялся за желтой вязочкой по ковру и вдруг увидел, как блеснули из самого темного угла ее глазки. Он подбежал к ней и кинул вязочку с бантиком, а она только смотрела и не шевелилась. Кай подошел к ней, стал ластиться, стал трогать и бить ее лапой, а сестра только качала головой.

Они были одни в темноте и говорили глазами. Каю хотелось играть, но он просто сел рядом и смотрел на нее и просто был рядом и ощущал свое дыхание у кончика носа.

И приснилась ему чудесная страна, и золотые горы, и голубые-бирюзовые облака, сливающиеся с синим небом тонкой вуалью цвета, переходящего от изумруда к бирюзе, и само небо, спокойное, и вечное, и безмятежное в своей постоянной изменчивости.

Пылало оно жаром, пылало оно огнем и закручивалось само в себя, а потом легла ночь, и в деревьях вечного леса загорелись огни, мягкие огни лунного света, это были то ли огромные светлячки, то ли плоды деревьев, то ли духи, водящие хороводы вокруг неохватных стволов.

Кай слышал множество голосов, видел существ

Кошачий мёд

в красивой одежде — это были поэты и ученые и кто-то еще выше и благороднее. Они не были ни праздны, ни заняты, их взгляды направлены были и внутрь, и вовне одновременно. Кай так не умел, его взгляд привык смотреть вовне, концентрируясь на объекте: на птичке, на ниточке, его взгляд был цепким, когтистым: взгляд охотника, этот взгляд хватался, вцеплялся в добычу, во все, что бы ни видел.

Сладкие слова, звуки и мысли разносились вокруг, он их ощущал, но не мог уловить смысла, ах, о чем они, о чем они поют, они были необычайны, они вызывали грусть, они вызывали разрывающую сердце сладкую тоску, в них была и горечь, в них была и потеря, но что эта потеря, что эта горечь рядом с тем раскаленным золотом, которое они излучали, золото слов — он так это ощущал, слова, оплакивающие жизнь и смерть, оплакивающие удел и превозносящие к чему-то высшему святостью и силой данного мгновения.

Он вспоминал всю свою короткую жизнь: рождение и мать, игры и все-все-все, и грезил о будущем своем, он видел его, и оно было непросто. Он видел зиму-зиму, и холод-холод, и боль, и страдание, и потери, и все-все-все, что могло бы привести его в неопишуемый ужас, что могло бы стать его кошмаром, если бы не эта золотая песнь. Кай вдруг понял, что в ней поется о его жизни и что в нее вплетена каждая его мысль и он сам, весь без остатка, каждый коготь, каждый мускул его и зрачок его — это золотая песнь, терпкая, экстатическая песнь, золотое всепронизывающее сияние, сладкое, как мед.

Когда Кай проснулся, уже забрезжил холодный рассвет. Он тут же забыл о чудесном сне, ему захотелось есть

и играть, и он не знал, чего хочется больше.

Сестра спала.

Кай подошел к ней и тронул лапой – она не спала.

Она была одновременно податливая, тяжелая и неестественно теплая, теплящаяся, тлеющая, догорающая, она остывала.

Кай сел рядом и стал ждать. Он понял, что произошло нечто очень важное.

Действие второе

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Бродя в одиночестве, одинокий юный бродяга, бродя в поиске еды, бродил по своей и чужой территории, забывая каждый угол и помня каждый запах, старательно внюхивался в чужака — опасен ли тот, щерятся ли усы на его огромной морде или это всего лишь тщедушный донжуан грязного заплыванного асфальта?

Холод кончился, долгая смертельная зима кончилась. Кай ее пережил. Кажется, это была его третья зима.

Первая прошла в доме. Он плохо помнил это, он помнил только игры и какой-то момент, когда радости вдруг стало меньше. Он помнил мать, забывшую, вероятно, его, да и где она теперь? Но когда Кай находил шерстяную тряпочку, он жадно и мягко впивался в нее когтями и мял ее, и мял ее. Задыхаясь от теплоты и приятного возбуждения, он уносился туда, где был маленьким пушистым комком под сенью огромной кошки, и ее теплые сосцы, полные молока, были всем, что нужно для блаженства.

Вторая зима прошла в тесной комнате с Большой. Она была одна, но это точно была котенок Больших из его детства. Она все так же обнимала, и тискала его, и ласково гла-

дила по головке, и от прикосновений ее рук он жмурился и ластился даже, если было холодно, но она сама стала холоднее, Кай чувствовал, она сама замерзала в этой зиме и в этом одиночестве, которое они делили пополам. Она часто плакала и часто смотрела в окно. Он тоже смотрел в окно, а до слез ее ему не было дела — хотелось кушать и чего-то еще.

Это была тюрьма. Он любил ее, она любила его. Но Кая тянуло наружу, туда, где свободный ветер в облаках и где пронзительно воют автомобильные гудки, где райские кущи охотничьих угодий полны разжиревших мышей и птицы летают у самой земли, так, что в прыжке их можно ухватить когтями, где на каждом дереве свито гнездо, в которое можно забраться и разорить его. Кай не мечтал убивать, Кай мечтал охотиться, хотя сам лишь дважды сумел поймать маленьких мышек в пыльной темноте подкроватья. Когда она у тебя в зубах, это уже не то, но сам момент прыжка — он чувствовал, что время сжималось и мгновение становилось вечностью, в этот момент Кай прикасался к золотой вечности. В его памяти всплывал прыжок матери, изящный и грациозный, непревзойденный доселе прыжок, первый урок охоты. Все прыжки Кая, вся его охота были лишь жалким подражанием тому великолепному, величайшему из прыжков.

Кроме грез об охоте, появилось еще кое-что — неясное томление, скапливающееся где-то в животе, где-то между задних ног, где-то под хвостом, сладкое, терпкое и невыносимое. И когда он мял шерстяную тряпочку, вспоминая тепло матери, появлялось кое-что, чего он совершенно не понимал — сладчайшая истома, невыносимая, требующая выплеска. Когда Кай был уже не в силах ей противостоять, он прижимался всем телом к шерстяной тряпочке и начинал тереться об нее и двигаться всем телом, особенно прижимая низ живота, и было так хорошо, но никакого удовлетворения это не приносило. Каждый раз, войдя в ис-

Кошачий мёд

ступление, он терся о тряпочку, пока не уставал, потом валился на бок и, недовольно виляя хвостом, ловил в воздухе невидимых мух.

Однажды Большая застала его за этим занятием, и — Кай запомнил это, Кай с тех пор перестал ей доверять, Кай с тех пор затаил обиду — она вскрикнула и запустила в него тяжелой книгой, которая больно ударила в бок. С ревом Кай перекувыркнулся и бросился в бегство. Его ребра болели еще неделю, а Большая стала еще чуть холоднее — они перестали делить даже одиночество. Она так же кормила и ласкала его, но мысли ее были где-то далеко, и все чаще Кай ловил в ее взгляде отвращение, чувствовал собственную ненужность и давящую тесноту этого места.

От невыносимости, от однообразной пищи, от этого он никак не мог убежать. Он кричал, он метался из угла в угол, стараясь хоть как-то выплеснуть все, что изо дня в день копилось внутри. А когда уставал, еще более неудовлетворенный, шел к окну и долго-долго следил за полетом птиц.

У Большой появился самец. Они спаривались на кровати, а Кай смотрел, не мигая, и зевал. Он невзлюбил ее партнера, который больно бил ладонью по загривку, когда Кай впадал в иступление и начинал метаться по сияющим залам этого безысходно замкнутого пространства. После шлепка Кай успокаивался, но через некоторое время начинал злиться еще больше и переворачивал в своем бешеном бегстве по кругу все, что попадалось на пути. За вазу с цветами, разбитую голубую весеннюю предвесеннюю вазу предвкушения — голубых подснежников, синих ворсистых, за эту вазу, на которую Кай иногда смотрел, и вот за эту грезу о весне, за разбитую любовь фарфора, Большой схватил его и швырнул об стену. Кай уполз в темноту, под кровать. Сидя в темноте, он вылизывал ушибленное болящее тело и так не хотел выходить, никогда больше не хотел выходить на-

ружу.

Она поставила пищу и воду, ласково звала. Он ел, но снова скрывался в убежище и только со временем с опаской стал выходить на свет. Большой приходил нечасто, и, хотя Большая предпочитала общество сильного самца, Кай снова мог спать с ней в одной кровати.

Чем ближе становилась весна, чем больше тепла было в голубом небе и чем сильнее поднимался от растений пьянящий аромат новой жизни, в сиянии которого зрели почки, а в земле семена готовились стать цветами, тем больше все это сводило Кая с ума, тем больше ему хотелось кричать, хотелось мчаться навстречу ветру и всему-всему-всему тому невыразимому кошачьему необузданному счастью, которое ждет его там, впереди, в голубой холодной дали: все драки, все кошки, вся охота, все одиночество, все препятствия и победы. Он рвался туда изо всех сил, а в животе поднималось что-то тугое, упругое, вопящее, дикое и высвобождалось горячей плотной струей, бьющей в угол кровати...

Той весной Кай впервые оказался у двери подъезда, большой, металлической, непреодолимой, пахнувшей собаками. Вихрь запахов наполнил безумием нос, вихрь цветов, не сдерживаемых больше оконным стеклом, ворвался в зрачки, высвобождая черт его знает какие впечатления, высвобождая все, что так долго копилось: одновременно полнейший, приводящий в ступор ужас, острый запах опасности — запах других животных, птиц, людей, еды, помоев, и — одновременно — ветер свободы, холодящий ставшую дыбом холку, и — одновременно — запах добычи, заставляющий напрягаться и сладко вытягивать когти из пушистых, почти девственных лапок.

Еще дважды он возвращался в квартиру, ожидая и крича у железной двери. Его забирали, побитого, израненного,

Кошачий мёд

он ел, но вскоре снова слышал внутренний зов. И Кай жаждал этого, и Кай вновь оказывался у железной двери — в начале своего путешествия.

Пыльные подвалы. Тогда он впервые познакомился с их обитателями — тогда они принесли ему много боли и страха. Теперь он мог только презрительно ворчать, глядя на своих грязных ободранных больных братьев и сестер, делящих с ним плоды земной жизни. Кай и сам уже почти ничем от них не отличался.

Но тогда — какое это было лето, полное приключений, полное боли и гноящихся ран, полное захлебывающегося лая собак, загонявших его, но так и не настигших, гончих, игривых гончих ада, обещающих невыносимое страдание на кончиках острых зубов.

Однажды он видел, как собаки разорвали кота. Он видел, как лохматый уличный пес схватил упругое рыжее тело, как ощерившееся когтями, усами и зубами тело вцепилось в морду пса и как асфальт окрасился кровью, и Каю казалось, что до него донесся терпкий запах мочи и крови и мускуса, иной, нежели тот, который он чувствовал на охоте — коты изнутри пахнут иначе, невкусно, противно. Кай смотрел, не отводя взгляда, как пес швырнул еще кота, уже не ревущего, а лишь урчащего и булькающего, пытающегося еще жить все еще кота, шатающегося. Пес прикончил его и еще долго терзал мертвый всполох рыжего пламени.

Кай сидел на дереве, выжидал на дереве и видел, как кошачий мед пролился на землю и расплескался повсюду. Он, кажется, мог учуять его едва уловимое сияние в воздухе, полном запаха гари, запаха вязких тополей, жарящегося мяса из чьей-то кухни, запаха человеческих детей и запаха крови.

В тот же день Кай познал освобождение от сладостного изнеможения, когда он, представив себя диким охотником прерий, когда сама кровь подсказала ему быть диким

охотником прерий, гепардом или тигром из джунглей, когда он медленно, пригнувшись, напрягая свой рельеф мышц, красовался перед мягкой и пушистой, мягкой и домашней кошечкой в ошейничке с красной ленточкой с золотым бубенчиком, и как он сперва не глядел на нее, лишь бросая косые взгляды во время своего охотничьего променада, она тоже бросала косые взгляды, и неизвестно было, хочет она или нет, но запах говорил — да, и Кай был полон решимости, вне всяких сомнений — так стучало его сердце, так говорила его кровь, и даже на кончиках ушей пульсировала дикая любовь, так он медленно приблизился к ней, как к добыче, и она заурчала, она учуяла, она подпустила, вильнув хвостом, и, мяуча, отставила задние лапы, и он тронул ее лапой, и она зашипела, и он приблизился к добыче еще ближе, и нос запылал от удара мягкой когтистой лапки, и это было сладко в реве и мяве и стогах, пахнувшая влажной землей, червями, и гнилью, и самыми основами жизни промежность под хвостом, он был настойчив в своем неистовом нежном желании, и они близко, и вот он держит ее зубами за загривок, а она выгнула спину, наконец, замкнулась цепь, и, не щадя сил, Кай не думал, не нужно было ничего делать: ни охота, ни запахи, ни вкусы — ничто больше не тяготило его, только движение, рев, повизгивание и блаженство, происходящее само по себе. Не было никого и ничего, не было его и не было больше ее, Кай не понимал, где он и что он, только все больше безумствовало его тело, и тугая упругая сила, готовая породить новый мир, поднималась внутри.

В блаженстве все поплыло. Не поплыло — прояснилось, просветило сквозь завесы реальности. Золотой свет, представивший все, проявивший все в первозданном виде. По телу пробежала дрожь, Кай резко вернулся в пахучее шерстистое тело со всеми его мышцами, костями и внутренностями. Прошло всего несколько мгновений, и, судорожно,

Кошачий мёд

весь мед жизни вошел в кошку, покинув его тело.

Изнеможенный, Кай замер. Он тут же получил еще один жестокий удар когтями — она вывернулась из-под него и взревела. Кай едва увернулся от зубов и, недоумевая, куда подевалось медовое золото, стал вылизывать шерсть.

Похолодало. Железная дверь перед Каем открывалась все реже и реже, он почти забыл дорогу сюда. Теперь он жил в пыльном подвале рядом с другими котами. Снаружи они готовы были драться за каждый клочок земли, здесь же терпели друг друга и даже ели вместе из пластиковой миски, которую несколько раз в неделю наполняла добросердечная бабушка.

Быстро пролетело время, полное забот, волнений, охоты и драк. Наступила третья зима Кая, самая тяжелая и жесткая зима Кая, холодная, болезненная и безрадостная. Такая зима, когда хвост чернеет изнутри, когда шерсть смерзается клочьями, когда ты лижешь воспаленным языком оледенелые помои, когда вы изо всех сил жметесь друг к другу со своими братьями и заклятыми врагами, но все равно никак не можете согреться.

В эти дни, забившись в подвале под теплую, под полную огня, под пылающую изнутри трубу, когда одна половина тела изнемогает от жара, а другая — от холода, ты ворочаешься беспокойно, но потом, смирившись, ложишься клубочком и терпишь, лениво прикрыв глаза, терпишь и сжимаешься; в эти дни, когда ничего не хочется и особенно не хочется куда-то идти, ты все равно идешь, ступая мягкими лапками по холодному снегу, и глядишь в теплые окна, горящие праздничными огоньками, и глядишь на запертый непробиваемый неприступный железный бастион — на железную дверь, смутно знакомую, ведь ты уже забыл, что там за ней, силишься вспомнить и не можешь; надо искать еду,

и ты завидуешь сытым собакам, радостно резвящимся на улице вместе с людьми, и боишься этих сытых, пышущих жаром собак, ведь ты слаб и можешь не успеть вернуться от острых зубов и быстрых лап; морозный воздух прожигает твой нос, и усы, покрывшиеся инеем, уже почти ничего не чувствуют.

Ты готов жевать даже черствую краюху хлеба, и все вы, твои братья и сестры, выживаете только милостью одинокой старушки в шали и толстых заиндедевевших очках.

Однажды старушка пропала, и вот уже несколько дней коты сидели без еды. Почуввав близкую смерть, Кай покинул это место и отправился в долгое путешествие сквозь пургу. Опустив хвост и голову, он брел во мгле, и снег все равно слепил, попадая в глаза. Только в стучащем сердце еще чувствовалось тепло, но лапы уже стали такими же, как снег, как холодная пурга и как лед. Кай все брел и брел, заглядывая порой в подвалы, останавливаясь там погреться, проваливаясь в беспокойный сон. Он смотрел на спешащих куда-то людей: они укрывали в руках свертки и несли пакеты, откуда пахло — он все еще мог чують — пахло едой.

Люди были радостные, Кай это чувствовал. Он поднимал голову и смотрел на них. Одна девочка посмотрела в ответ, румяная, в вязаной шапочке. Кай хрипло замяучил и подошел ближе. Но тут появился отец, взял девочку за руку, и они зашагали прочь. Она только один раз еще оглянулась назад, а Кай так и остался сидеть у двери магазина.

Уставший и вымотанный, он побрел дальше, пробрался сквозь узкую решетку в очередной темный подвал — нужно было поспать, отдохнуть, больше не оставалось сил. Из темноты на Кая уставилось несколько пар злых сверкающих глаз. Послышалось ворчание, и он заворчал в ответ, он не

Кошачий мёд

хотел уходить в холод да и не мог уже. Его рев был слабым, а рев соперников — мощным, опасным.

Они приближались. Кай отступал. Дальше нельзя, иначе снова в пургу. Кай замер. Кай выгнул спину, впустился, как мог, но не отступал больше, хотя чувствовал-знал, что он слабее. Инстинкты кричали об опасности, и сердце бешено билось. Прыжок. И черная, растрепанная черная, накинута тень, лихая черная растрепанная, мелькнула тень. Кай не был готов. Они покатались кубарем, провалились с ревом куда-то вниз, в мерзлую пыль подвала. Соперник очутился сверху, и Кай только бил наотмашь свободными лапами. Что-то теплое брызнуло и потекло — кажется, он повредил сопернику глаз. Тот взъярился еще больше и яростным шквалом острых когтей-зубов-лап стал рвать и взрывать плоть Кая рваными полосами, вырывая и разрывая куски кожи и мяса, и оторвал большой кусок уха. Кай заревел от боли, всем телом рванулся вправо и высвободился из хватки. Коты разбежались и стали угрожающе шипеть.

Снова прыжок. Это не было похоже на те сытые летние поединки котов, случающиеся, скорее, от скуки. Снова боль, когти, мышцы, напряжение, пульсация. Бой насмерть. Выжить. Но Кай все равно отступал. Взмах, взмах, взмах. Кровь повсюду, в темноте кто-то приближается. Каю вдруг стало очень страшно, так страшно, как никогда не было страшно, он развернулся и побежал, но спасительная решетка была далеко. Он забился в грязный угол. Соперник, грозно размахивая хвостом, стал медленно приближаться. Бежать некуда. Сил нет.

Долгое, томительное мяучанье. Нет сил кричать, но ты кричишь, разинув пасть, и щеришь усы. Враг чувствует свою силу. Враг чувствует свою силу и наслаждается ею. Сейчас будет прыжок...

В отчаянии Кай напал первым. Ему удалось застать со-

перника врасплох, и черная тень, теперь похожая на рваную тряпку, стала отступать. Это длилось лишь несколько секунд, а потом Кай ощутил сбивающую с ног усталость. Прыжок забрал едва ли не все его силы, движения замедлились. Тут же на него обрушился ответный шквал ударов, а на шее сомкнулись острые зубы. Кай попятился, но не смог вырваться, и оба кота повалились наземь. Держа Кая за шею, противник применил самый коварный кошачий удар — он выпустил когти на задних лапах и стал молотить ими, стараясь распороть Каю живот. Кай тоже молотил всеми лапами, защищаясь от ударов, получал глубокие порезы, но изо всех сил старался вырваться, выжить. Ему повезло. Ударив вслепую, он зацепил крючковатым когтем второй глаз черного кота. Раздался рев, и на секунду хватка ослабла.

Кай вырвался и побежал прочь — к решетке, которая освещала мрак подвала холодным призрачным светом. Прочь, на свет, в пургу. Дыхание ветра обожгло его раны. Кай не оглядываясь побежал по снегу и льду. Он не видел ничего перед собой. Сначала раны ныли, потом холод проник в них, и Кай перестал чувствовать боль. Тогда он, наконец, остановился, он не мог больше бежать, он не знал, где находится.

Кай поднял голову — перед ним в холодном мареве возник высокий дом, окна которого светились теплым светом. Страх больше не было, не было и желания выжить. Кай ощутил волну тепла, накатившую откуда-то изнутри. Окна. Быть может, прямо сейчас там сидит какой-нибудь кот, смотрит в окно и грезит о вольной жизни?

Вход в дом охраняется неприступной железной громадой двери. Кай подошел и долго смотрел на эту дверь. Неизвестно, та ли это дверь, из которой он вышел, или какая-то иная. Это было и неважно. Кай завалился на бок, глядя прямо пред собой. Серую железную плиту стала медленно заволакивать тьма, веки сомкнулись. Последние капли боли, усталости и напряжения стали уходить, уноситься куда-то

Кошачий мёд

далеко-далеко, а тепло все усиливалось, тепло и покой. Нет безудержной гонки, нет надежд, нет опасений, ничего и никогда больше не нужно будет делать, не о чем беспокоиться.



Мягкий желтый свет коснулся век. Кай очнулся на поляне среди пахучих трав. Вокруг был еловый лес, и оранжевое закатное небо наполнилось запахом цветения. Мягкие облака расслаивались и перьями опадали у пылающего горизонта.

Не было ни рваных ран, ни зимы. Шерстка Кая лоснилась, по телу разливались сила и покой, которых он не знал уже давно. Наверх, в гору, вела узкая тропка. Кай побежал по ней. Он точно знал, что это — правильная дорога, и неважно было, куда именно она ведет. Его переполняло чувство полного доверия к миру. Кай наслаждался здоровьем и силой, очень быстро поднимаясь все выше и выше по крутому склону, пока не очутился на утесе, с которого открывался вид на долину, залитую светом закатного солнца: еловые шелестящие шепчущие леса, вспыхивающие то тут, то там огоньки, извилистая река, вольно раскинувшаяся меж гор, блестящая чешуей волн, словно огромный змей.

Кай остановился и вдохнул полной грудью. На небе, начинавшем темнеть не с востока, а прямо в зените, он увидел первые звезды, сияющие сапфиры, поющие ему о чем-то далеком и беспредельном. Кай заслушался и не заметил, как поднялся на задние лапы, и очнулся, лишь когда коснулся своего лица почти человеческими пальцами. Дальше Кай пошел на двух ногах. Это казалось вполне естественной переменой, это его совсем не удивляло, а наоборот — вызывало чувство чего-то давно знакомого. Тропинка все вилась впереди. Она была живой, она ждала его здесь очень долго, и чем дальше шел Кай, тем сильнее он ощущал восторг земли и камней под своими ногами.

Его окружила стайка мерцающих огоньков. Лапой-рукой Кай попытался коснуться одного, но огонек все время ускользал. Светлые огоньки обдавали пальцы теплом, а голубые слегка охладили. Эти ощущения были приятны.

Из-за деревьев на уступе выплыла высокая витая башня

цвета слоновой кости, монолитная, с золотым шпилем. Вход в башню предваряла изящная терраса, зависшая над бездной. Вид на долину отсюда захватывал дух. Кай направился к террасе, где, он точно это знал, его уже ждали. Там собрались коты и кошки, а может быть, это были вовсе не коты и не кошки; он сам уже не знал, кот он или нечто другое? Тела кошек были изящны и тонки или пышны, но музыкальны. Коты же выглядели сильными и атлетичными, но в меру. Их одежду составляли тонкие вуали, золотые украшения и драгоценные камни.

Кай был наг, но стоило только подумать об этом, как сама собой на нем возникла одежда — зеленый плащ, изумрудная тиара, серебряные браслеты с украшениями из малахита и лунными камнями в центральных розетках, обрамленных тончайшими узорами, туника и пояс из зеленого шелка с золотым и серебряным шитьем.

Он взошел на террасу у башни, окруженный сонмами огоньков, которые слетались к нему отовсюду, и музыка, которую тонкие лапки кошек извлекали из призрачных арф, затихла. Все обратили на него свои благородные взоры. Они улыбались и приветствовали его, он это знал, хотя не было сказано ни слова.

Кай сел на пустующее место у балюстрады и стал смотреть, как догорает закат. Музыка зазвучала снова, и все по очереди стали читать стихи. Это были даже не стихи и не песни, это был естественный способ общения благородного собрания. Вскоре очередь дошла и до Кая, и он, немного смущаясь, молвил:

*«Я из мглы и мороза,
рожденный в грязной коробке,
я, спешащий жить,
где отдыхаю теперь?
Ответьте, о благородные,*

Кошачий мёд

*утолите вы мою ненасытную жажду,
скажите,
что же такое
кошачий мед?»*

И ему отвечала прекраснейшая из кошек:

*«О достойный, в благородстве
ты превосходишь каждого здесь.
И мудростью нет подобных тебе,
ответь же ты сам на этот вопрос».*

«Я не знаю», — ответил ей Кай.

«Тогда открой свои очи», — ответила кошка.

«Мои очи открыты», — ответил Кай.

«Тогда смотри, медоокий», — ответила кошка.

Кай замер, прислушался к себе и стал смотреть. Кай стал видеть, видеть не глазами, он стал видеть само зрение, он стал видеть все органы чувств и все ощущения, изнутри и снаружи. Как никогда ясно он увидел, что есть кошачий мед — это было нечто, подобное вневременному свету, разлитому повсюду в пространстве. Он чувствовал это еще котенком, но соприкасался с ним лишь в пиковые моменты своей жизни. Тем не менее, кошачий мед был всегда и пронизывал каждое мгновение жизни.

Когда он пил воду — это был кошачий мед, когда он ел мясо — это тоже был кошачий мед, и даже когда он ничего не ел и не пил — это все равно был кошачий мед! Да и не только кошачий — им были пронизаны собаки, мыши, люди, насекомые, двери, окна и камни, вообще все.

«Я понял, о луноокая, — молвил Кай. — Но, ответь мне, молю,

мудрейшая из кошек, скажи,

зачем мы живем?

Ведь мед – вот он, повсюду, всегда.

Почему мы, подобно слепцам, не видим его?

Почему мы, подобно разлученным возлюбленным, тоскуем по нему?

Почему мы, подобно нищим бродягам, голодаем без него?»

«Открой глаза еще шире, о превосходный!» – отвечала ему кошка, и Кай увидел всю свою кошачью жизнь – от начала и до самого конца, но так и не нашел ответа.

«Я не знаю ответа, о прекраснейшая! В этой жизни я не знал ничего о кошачьем меде. А если и соприкасался с ним, то тут же забывал и снова бежал куда-то, пытаюсь настичь добычу, пытаюсь избежать неприятностей. Добыча ускользнула из моих лап, а неприятности преследовали меня, словно тень. Я обрел только горечь, боль и бесславную гибель.

*А здесь, здесь кошачий мед разлит повсюду,
здесь он чувствуется даже в аромате цветов,
здесь он слезами стекает с плачущих ив
у берега молочной реки».*

«Смотри глубже, смотри в самую суть, о держатель драгоценного алмаза», – ответила ему кошка.

«В самые острые, подобные готовой сорваться капельке росы на кончике листика, моменты жизни я видел кошачий мед, но не помню, чтобы хоть раз пил его осмысленно», – ответил ей Кай.

«А пытался ли ты хоть раз это осуществить, о драгоценный?» – ответила ему кошка.

«Я не мог даже помыслить об этом, о всеобъемлющая!» – ответил ей Кай.

«Продолжай смотреть, всегда наблюдай за происходя-

Кошачий мёд

щим без отвлечения, о восхваляемый в тысяче миров герой, и знай, что все это благородное собрание, которое ты видишь пред собою, — такие же кошки и коты, такие же, как ты в этой и других жизнях. Не думаешь ли ты, о великолепный, что кто-то из нас знает больше, чем ты сам?» — ответила ему кошка.

«Когда умерла моя сестра — тогда я видел мед, и это могло жить, но ее смерть добавила горечи в этот вкус.

Когда я видел смерть кота, растерзанного собаками, — тогда я видел мед, но и эта смерть добавила горечи в этот вкус.

Когда я встретил первую мою возлюбленную — тогда я видел мед, и это было сладостно.

Кошачий мед — сама жизнь и даже больше того.

В этой жизни мы можем накапливать его. Накапливать не сам мед, а, скорее, накапливать понимание, что, в сущности, одно и то же», — ответил ей Кай.

«Верно, о сострадательный!» — ответила ему кошка.

Она взяла Кая под руку, как супруга, и они вошли в проем башни. Здесь в узорных горшочках, в священных горшочках, изображавших котов, сложивших под собой лапки и закрывших глаза, в этих прелестных горшочках сиял кошачий мед. В одних горшочках меда было очень мало, лишь на самом доньшке, другие же были полны до краев.

«Свет моих очей, — сказал Кай, глядя в зеленые глаза-изумруды своей спутницы, — я знаю тебя бессчетное количество жизней, с безначальных времен».

«И я тебя тоже знаю, герой тысячи миров», — ответила ему кошка.

«И знаешь, — сказал Кай, глядя в ее зеленые глаза-изумруды, — я был жаден, неосознанно, но это все равно жадность. Я изнемогал от жажды, я желал пить мед со всей страстью. Теперь я не хочу этого».

«Каково же теперь твое искреннее желание?» — спроси-

ла его кошка.

«Если я вернусь к жизни, — сказал Кай, глядя в ее зеленые глаза-изумруды, — то снова буду подобен одинокому пилигриму, бредущему под жарким солнцем и на холодном ветру в своих никчемных обносках.

Я буду жаждать меда сильнее, чем путник, умирающий в пустыне, жаждет получить хотя бы капельку влаги.

Но мое искреннее желание — делиться медом с другими. Быть может, для этого и существуют коты на свете, для этого копят драгоценные капли в сосуде своей жизни?»

«О тысячеликий, превосходный алмазный владыка, ответь, скажи, хотел бы ты вернуться к жизни или желаешь остаться здесь, вместе с благородным собранием?» — спросила его кошка.

«Я хотел бы вернуться к жизни», — ответил ей Кай.

Она снова взяла Кая под руку и повела его через террасу — Кай встретился взглядами с членами благородного собрания, и с каждым возникло чувство глубокого узнавания и доверия. Спутница вывела его на тропинку, по которой Кай пришел сюда. Он поглядел вверх, ввысь, куда изо всех сил тянулась гора. Кай неожиданно почувствовал, увидел — и это было непоколебимое знание — что гора эта не имеет вершины, что она бесконечно уходит и уходит в зенит.

Кай обернулся, чтобы спросить об этом свою спутницу, но никого рядом не было, не было ни террасы, ни башни. Он подошел к краю обрыва и поглядел на залитую светом долину. В воздухе теперь мерцала золотистая пыльца, все искрилось в солнечном свете. Кай видел тончайшие переливы цвета, он видел радугу где-то вдаль, он увидел радугу, увидел радугу, раскинувшуюся от одного берега до другого прямо над рекой, и улыбнулся.

Подставив ветру лицо, Кай зажмурился, позволил ветру трепать буйную гриву, которой секунду назад не существовало, но разве это важно? Смеясь, Кай вернулся на тропу,

Кошачий мёд

но пошел не вниз, откуда пришел, а наверх, в бесконечный зенит. Это было долгое путешествие. Чем выше поднимался Кай, тем сильнее становился золотистый свет, заливавший все вокруг, тем острее бил в нос запах меда, тем больше обнажалась реальность. У Кая возникло ощущение, что он приближается к источнику света, и теперь он уже не шел, а бежал, несся вперед изо всех сил, не зная ни боли, ни усталости. С каждым шагом, с каждым вдохом, с каждым мгновением блаженство становилось сильнее, с каждым мгновением свет становился все невыносимее, и, наконец, на пределе, в точке сингулярности между блаженством и невыносимостью, когда, казалось, возможно было совершить прыжок к источнику всего этого, к источнику кошачьего меда и раствориться навеки в сиянии славы — Кай очнулся.

За окном завывал ветер и хлопала крыльями снежная тьма. За окном не было ничего. Тело ужасно болело, скрежетало костями и пульсировало, но эта боль была теплой. Кай чувствовал прикосновение чьих-то рук. С огромным трудом он поднял голову и посмотрел мутным взглядом на девушку с волосами до плеч, с похожими на сухую траву ароматными волосами, от которых веяло спокойствием, веяло жизнью, веяло чем-то совершенно противоположным холодной пурге. Кай положил голову на теплое шерстяное покрывало и провалился в сон без сновидений.

Кай был слаб, но уже мог ходить. Он с аппетитом ел сухой корм и ластился к новой хозяйке. Нет, конечно, он не мог признать в ней, да и вообще в ком-либо, хозяйина. Но она считала себя хозяйкой, и Кай из благодарности никогда не спорил.

Со временем слабость прошла, но не бесследно. Кай ли-

шился половины уха, и холод угнездился где-то внутри, под ребрами, — это была тянущая и сдавливающая внутренности мерзлота. Иногда было очень сложно и больно ходить в туалет. Но это не слишком беспокоило Кая, ведь он вернулся к жизни и нес ответственный пост. Под новогодней елкой, среди блестящих шаров и мишуры он был главным украшением дома и принимал это со смирением.

Хотя после чудесного сна Кай не обрел дара речи, хотя он и забыл обо всем, что ему привиделось в момент, который мог бы быть последним в его короткой жизни, он стал яснее чувствовать близость кошачьего меда: он видел его янтарный свет в отблеске новогодних шаров, он видел его в любящих глазах хозяйки, в глазах ее друзей и подруг. Иногда он мог пить мед, хотя для наблюдателя со стороны это была самая обычная вода из-под крана.

Начались долгие дни лежания, долгие дни ожидания хозяйки в пустой квартире, которые были хороши, но скучны до безобразия. Кай лениво игрался с мишурой, объедался и, лежа животом вверх на подоконнике, глядел на заснеженный город. День за днем он смотрел, как, медленно, отступает зима.

С каждым днем приближалась весна, сперва незаметно, но Кай все равно почувствовал ее, почувствовал глубоко под снегом, далеко за горизонтом, потом — быстрее, когда солнечный свет переменился и едва уловимое тепло стало ощутимее.

Вместе с запахами весны Кай снова услышал зов большого мира за стеклом, снова он начал священную войну против замкнутого куба, в который люди добровольно заточают себя и своих любимых. Кай бегал из угла в угол, опрокидывал посуду, кричал изо всех сил и метил территорию так, словно это были его собственные, принадлежащие ему по праву охотничьи угодья.

Когда тепло превратилось в жар, когда растаяли все со-

Кошачий мёд

сульки и звон капли эхом растворился в пространстве, когда ручьи талого снега завершили свой бег, когда проклюнулась свежая новорожденная травка, хозяйка сказала Каю:

— Ты правда так хочешь на улицу?

Кай громко мяукнул и посмотрел в окно.

— Хорошо, — сказала она. — Хоть сердце мое и разрывается, я отпущу тебя.

Хозяйка взяла его на руки. Кай в последний раз оглядел комнату. Почему-то ему захотелось жалобно замячить, но он сдержался. Она понесла Кая вниз по пахнущему собаками подъезду, понесла его вниз по пахнущему валерьянкой и котлетами подъезду, вниз, еще ниже — снова к неприступной железной двери между мирами.

Как в первый раз звуки, запахи и цвета ворвались в мозг Кая, одурманили его, закружили. Хозяйка на прощание потерлась лицом об его мордочку, он промяучил в ответ и, наконец, почувствовал подушечками лапок шершавый асфальт. Кай замер, полностью открывшись опустошающему урагану чувств.

— Ну, ты приходи, Кай, если захочешь, я тебя накормлю и вылечу, — сказала хозяйка, всхлипнула — она чувствовала и знала, что это прощание. — Береги себя, — она еще раз всхлипнула, развернулась и вошла в подъезд. Дверь захлопнулась. Кай, обернувшись, несколько мгновений смотрел на этот неприступный бастион, вновь отделивший его от мира людей. А через несколько секунд, забыв обо всем, что было и чего не было, побежал неизвестно куда, неизвестно зачем, навстречу новой свободе и свежему весеннему ветру, все еще холодному, ледяющему, но такому радостному и призывному!

Больше Кай никогда не видел хозяйку.

Он бродил по весенним улицам, восторженный и немного печальный.

Действие третье

КОНЕЦ ЛЕТА



Старый девятилетний бродяга добра, идущий, с мудрыми усами, седыми, куда глаза глядят, вдоль дороги, не пугаясь машин. Вдоль дороги – вперед, к кошачьему месту. Вдоль дороги бродяга бредет. Разве бредят так коты? Разве бредут они так – просто вперед?

Кошачий мёд

Он оглянулся. Коты так не бродят, коты ищут теплого места, коты ищут еды, коты дерутся за еду и за кошек, коты, хотя и выглядят как бродяги, редко становятся настоящими бродягами. Но Кай стал.

Он свернул на запах вкусной еды, и, по густой траве шелестя, не обращая внимания на юрких мышек-полевков, на юрких мышек урожая, он вышел к поляне. У поляны — машина, люди, голоса, смех, музыка. Люди обижали его, но он не утратил доверия. Каждый раз — новая святая удача. Он вышел из высокой травы на поляну, он вышел просить еды, он подошел незаметно, выпрямив хвост, и встал, глядя на черный мангал, на черный, ароматно дымящийся мангал, норовя заглянуть людям в лицо, норовя встретиться с ними глазами.

И они заметили его, и они стали говорить о нем, и, конечно, никто не стал гладить его, и, конечно, никто не стал брать его на руки. Ведь он — бродяга, он знал это, и оставил надежду, и стал свободен от надежды. Он замаячил, раскрыв алую пасть, продемонстрировал узкие желтые клыки.

И было дано, и было дано, и был кусок мяса, жилистый с жиром, прекрасный кусок мяса, который он жевал и разрывал, который он проглатывал и проглотил. Люди фотографировали, улыбались ему, и он, закончив, тоже улыбнулся им по-кошачьи и исчез незаметно, ушел своей дорогой.

Он встретился с кошкой, с молодой бело-черной белогривой бело-игривой кошкой с голубыми глазами. Это было место, похожее на дом его детства, на деревенский дом его детства, на фермерский дом его детства. Здесь тоже был дом, но он не мог войти в этот дом красного цвета с крышей из шифера, в большой дом с большой веселой семьей и кучей веснушчатых детишек, дом, откуда всегда пахло вкусной едой. Вот такой был этот урожайный дом

в колосащемся море пшеницы, вот такой был этот дом.

И в доме-доме этом жила вольная голубоглазая кошка, и в доме-доме этом жил старый сварливый кот, и во дворе-дворе дома-дома этого за деревянным забором-забором кривым, по перекладинам которого можно было так легко и грациозно гулять и даже лежать там, открывшись теплему солнышку, стояла зеленая, блестящая, как спинка жука, машина-машина. В доме-доме этом пахло детством.

Кай встретил кошку голубоглазую в предвечернем сарае. Она лежала-лежала на соломе, а вокруг валялось зерно, и наглые мышцы-мышцы его подбирали и ели, а кошка мяучила-мяучила и смотрела. Она спряталась, увидев странного чужака впервые, увидев пришедшего на зов, она спряталась-спряталась и робко разглядывала его из-за картонной коробки, и солнце-солнце раскидало меж ними свои пыльные лучики.

Бродяга Кай втянул ноздрями запах кошачьего меда, в предвечерье он всегда чувствовал его аромат особенно остро, он был утомлен и заинтересован, он просто лег на сено, вытянул лапы и положил на них свою мудрую глупую голову, прикрыл глаза. А кошка-кошка пугливо глядела на чужака.

Кай проснулся от шипения старого сварливого пушистого, пушащегося во все стороны, растрепанного старого кота, он шипел на Кая и ревел, старик с уродливой клюкой, размахивал ей он и молотил хвостом. Была ночь. Кай поднялся и глянул на старика без злобы, но тоже вздыбился. Так не хотелось уходить-уходить из милого места, где пахнет кошкой, где пахнет детством, где пахнет и старым котом, но Кай не имел ничего против старого кота.

Они подрались. Кай был не в лучшей форме после девяти прожитых зим, но соперник был стар и неповоротлив, ему пришлось позорно убежать, покинуть владения былой славы. А Кай вылизал царапины и отправился на охоту.

Кошачий мёд

Он бродил в холодном осеннем воздухе и глядел на догорающую жизнь светлячков, он бродил у речушки в ивах, он внюхивался в ночь и, замерев, точным прыжком ловил маленького суслика. Получилось не сразу, только с третьей попытки. Не спеша, под темным небом он съел добычу.

Запах, он давно его чувствовал — кошка тоже ходит здесь, ходит-бродит, но на что ей охота? — так, развлечение, ведь в красном доме-доме ждет миска, полная пищи. Она наблюдала за ним сейчас, и Кай это знал. Он смотрел, как в тишине течет и журчит речушка, слышал медовую песнь каких-то насекомых, которые скоро, совсем скоро умрут. Когда тучи рассеялись, а небо вызвездило космическим холодом, Кай поднял желтые глаза и увидел луну.

Никто не пытался прогнать Кая с фермы, даже старому ворчуну пришлось смириться — он избегал Кая и грязно ругался под нос при нечаянной встрече. Люди позволяли Каю остаться — наверное, решили, что он будет ловить мышей. Кай это делал исправно и был им благодарен.

А кошка-кошка с голубыми глазами, она жила-была в двух мирах — в мире красного дома и в его сарае, они виделись порой и глядели друг на друга, лежали вместе, играли как котята. Давно Кай ни с кем не играл — это было подарком. В этих играх, в ласковых играх котят, он забылся, потонул и всплывал наружу, только когда оставался один в предвечернем сарае в ожидании вечера.

Когда подули холодные ветры и листья приятным ковром застелили землю у реки, и когда пшеница уже была скошена, и когда люди убрали все зерно, и когда собрали весь урожай, она родила четырех котят, здесь, в сарае, она ушла-ушла из дому и обустроила гнездо среди сена, в глубине сена, в темной глубине, прелой глубине сена было кошачье гнездо, полное котят.

Когда она еще не свила гнездо и только готовилась родить, Кай приносил мышей и оставлял на пороге у дома, и, конечно, он видел, что люди выкидывали их, но он все равно это делал и продолжал приносить добычу в гнездо все те дни.

Он видел, он видел, как мать вылизывала детей, когда он присутствовал, и, когда он смотрел и видел это, и видел, как кошачий мед струится, наполняет их жизнью и наполняет их жизнь, он чувствовал в этот момент радость, глядя на нее, на котят и на нее, как она облизывает их, и слюна ее, и все это было кошачьим медом.

Три дня Кай заботился о кошке и приносил пищу, он приносил мышей, и птичек, и все, что удавалось раздобыть. Люди подкармливали его. Человеческие дары он тоже предлагал ей. Голубоглазая кошка шипела-шипела на Кая всякий раз, как он приближался. Кай просто оставлял пищу и уходил прочь.

Скоро люди обнаружили гнездо, забрали кошку и котят. Кай снова остался один в сарае. Почему-то он грустил и вспоминал горько-сладкий вкус, который ощущал, глядя на свое потомство. Еще несколько дней он приносил мышей и клал их на порог красного дома, а потом перестал это делать и сам занял еще недавно такое теплое гнездо в сарае.

Вечерело, выпал первый снег, когда он увидел ее в окне и обрадовался, подняв хвост. Хотелось посмотреть на нее и котят, и этого было достаточно. Кай никогда раньше не заботился о потомстве, а потомства он оставил немало. После совокупления он тут же терял интерес, уходил прочь. Сейчас было иначе — что-то внутри, в самом сердце, заставляло его переживать и грустить.

Кошачий мёд

Кай свернулся клубком в своем гнезде и стал видеть сны, в которых был снег, была луна, было тепло и уютно. На шерстяном одеяле он лежал вместе с кем-то теплым и плакал. Кто-то гладил его по голове.

Проснувшись, Кай почувствовал себя гораздо легче и свободнее. Новая ночь, хоть и холодная, полная ветра и мокрого снега, несла свежесть, несла очищение для уставшего мира.

Поля, деревья, дом и двор застелило, засыпало первым мягким белым-белым снегом, и дети выбежали играть во двор. Они кидались снежками и пытались слепить снеговика, который все время разваливался.

В соломенном гнезде Кай провел всю зиму, одну из лучших зим. Он зарывался глубоко в сено, а от стены, прилегающей к дому, исходило тепло — там топилась большая печь и черный дым клубами валил из трубы. Кай ловил снежинки, Кай много спал, у него была пища, которую приносили люди. Иногда заходила кошка с голубыми глазами, и они снова играли.

Однажды из дома в мягкий пушистый снег выбежали котята. Они были еще маленькими игручими комочками. Кошка ходила рядом, она учила их кошачьим премудростям, учила красться и прыгать, только вот добычи никакой в снегу не было. Кай вышел навстречу, но кошка зашипела, кошка выпустила когти и прогнала его прочь.

В середине зимы, в морозную ночь, Кай повстречал старика — тот кашлял и едва волочил лапы, он был плох, он ушел из теплого дома и призраком возник на пороге сарая. Старик всегда избегал Кая и никогда больше не появлялся в сарае после первой их встречи. Но теперь он пришел,

поглядел на Кая спокойными исстрадавшимися глазами, в которых не было уже ни злобы, ни обиды. Старый кот забился в дальний, самый темный и пыльный угол, и затих. Лишь изредка тишину нарушал его хриплый кашель.

Кай подошел к старику, встретился с его удивительно ясным взглядом и просто лег рядом, он заурчал, как мама учила в детстве, как она урчала, когда он сам был котенком, уткнувшись в ее теплый живот, он лег рядом, чтобы согреть старого кота, чтобы быть рядом.

Без пищи и воды Кай пролежал с ним весь день и всю ночь. Старик лежал, прикрыв глаза, но не спал. Иногда он заходился в приступах хриплого кашля, а потом плакал скудными старческими слезами, отпуская всю боль и напряжение долгой жизни. Утром он умер. Кай вдохнул запах быстро остывающего тела — оно пахло кошачьим медом.

Зима пошла на убыль, и соломы в сарае заметно поубавилось. Кай теперь спал на чердаке красного дома. Он перебрался туда еще и потому, что тело старого кота стало разлагаться и вонять. Люди нашли и закопали его, но Кай больше не хотел возвращаться в сарай. На чердаке ему приходилось спать на жестких пыльных досках, зато возле ржавой трубы было очень тепло. Он никогда не пытался проникнуть в дом незваным гостем и довольствовался тем, что есть.

Когда растаял лед и потекли ручьи, когда вновь запахло новой жизнью, когда весь мир пришел в движение, когда снова захотелось бегать, играть и резвиться, тогда Кай вновь увидел котят, уже больших и самостоятельных. За зиму они сильно выросли и теперь могли исследовать

Кошачий мёд

мир без помощи матери. Они гурьбой выбежали за порог и замерли на мерзлой земле, морщась от холода, осторожно касаясь лапками еще не растаявшего снега. Они вдыхали запах весны, они вдыхали кошачий мед.

Сперва они боялись Кая. Но он просто был рядом, и вскоре котята, которых выпускали гулять все чаще, привыкли к его присутствию. Иногда они играли вместе. Больше всего полюбила Кая маленькая кошечка, самая резвая, с разноцветными глазами — один желтый, как у Кая, второй — голубой, как у матери. Остальные держались от него в стороне. Один котенок был очень флегматичным, спокойным, часто уходил и подолгу пропадал где-то в поле или у реки, двое других — задира и забияка — все время дрались друг с другом во дворе.

Когда снег еще окончательно растаял, когда кончился холод, когда отпела капель, а из земли показалась трава, кошка стала навещать Кая чаще. Голубоглазая мать; он чувствовал, что она похожа на его мать. Их игры стали спокойнее. Она не переносила присутствия своих детей, которые уже выросли, она сделала для них все, что требовал долг, и теперь недовольно щерилась, если кто-то подходил к ней слишком близко. Кай же, напротив, был рад любой компании.

Голубоглазая возлюбленная его, чуя весну, отставляла ноги назад, ластилась и каталась по оставшейся в сарае соломе, куда снова перебрался спать Кай.

Наступила черед теплых дней. В один из них Кай проснулся и вышел во двор. Солнце грело так хорошо; он зажмурился, потянулся. Вокруг пели птицы, люди были заняты работой, весь мир куда-то двигался, жил, источал запахи и

ароматы, радовался и пел.

В своей миске Кай нашел кусок мяса и молоко — настоящее пиршество, какое случалось нечасто.

С огромным удовольствием он съел мясо и вылакал молоко, на усах остались белые капельки.

Кай еще раз потянулся, оглядел всю ферму: красный дом, сарай, скотный двор, широкое поле, готовое родить. Его никто не видел. Кай медленно зашагал прочь, взобрался на забор, последний раз прошелся по деревянной балке, прыгнул за ограду, прошел по берегу реки под тенистыми ветвями прибрежных ив. Наметанным взглядом он замечал мышей и робких сусликов, но ему не хотелось охотиться.

Кай пересек поле, следуя вдоль узкой тропинки, и вновь оказался на обочине дороги, по которой со свистом проносились машины.

Действие четвёртое

ПОСЛЕДНЯЯ СТАНЦИЯ

– Черт подери, да что он творит?

– Ебанутый кот! Куда лезешь?

Но Кай уже забрался на платформу. Здесь сидели двое бродяг. Один – в вязаной красной шапке, с кустистой бородой, похожей на корни травы с налипшими комками грязи, и седыми вьющимися прядями волос. Лицо его – большое, морщинистое, как у старого дуба, с большим выдающимся носом. Глаза – тоже большие, широко открытые, с желтоватыми белками. Кай сразу распознал в них отчаянную небесную ясность.

У второго бродяги были короткие светлые волосы, он был худощав, через держащуюся на нескольких пуговицах клетчатую рубашку просвечивали выступающие ребра и впалый живот. Парню было пятнадцать-семнадцать лет. В том, как топорщатся его волосы, как растет щетина, как острится его напряженное лицо и двигаются желваки, в его ясно-голубых ангельских глазах – глазах отца, глазах безумца и хулигана; во всем этом читалось отчаянное стремление жить, жить изо всех сил, жить на пределе. Это тоже нравилось Каю, но также ему нравилась и нагретая утренним солнцем платформа товарного поезда, где можно было немного понежиться в тепле.



Кошачий мёд

В руках у старого бродяги была бутылка портвейна, полупустая, зеленая, с черной бурой жидкостью, внутри плескавшейся, перекатывавшейся, словно вязкая слизь, медленно ползущей к горлышку. С бульканьем, когда бродяга прикладывался к бутылке, они соединялись — зеленое горлышко и алые растрескавшиеся пыльные живые страждущие губы. Вязкий терпкий яд прокатывался по широкой глотке, и несколько раз, словно гигантский поршень, поднимался и опускался кадык, и в мутном зеленом стекле ослепительно блестело солнце. Кай жмурился, а бродяга отставлял бутылку и грязным рукавом рваного пиджака утирал губы.

— Батя, ты щас все выхлестаешь, оставь на дороге.

— Нормально, — хриплым голосом ответил отец, — смотри, какое хорошенькое утречко сегодня, все блестит, вон кот тоже знает и лежит себе. На, — он протянул бутылку, и его сын сделал несколько резких жадных торопливых глотков.

— Эх, котяра-котяра, бля, обормот, — старый бродяга придвинулся, пошатнувшись, к Каю и большой грубой ручищей стал гладить того за ушком, по голове, стал чесать пузо, а Кай развалился, глядя в ослепительное небо. Давно его никто не гладил, он жмурился в лучах солнца, а бродяга смеялся.

— Этот кошак едет с нами, — сказал сын, играясь с монеткой, перекатывая ее между костяшками тонких пальцев. Резким движением он отправил монетку в зенит, не глядя поймал ее, перевернул и поднес к глазам: — Отвечаю, с нами поедет.

— Ну и пушай едет, — заплетающимся языком ответил отец, развалившийся по примеру Кая животом вверх. — Эх, бляха-муха, хорошо, а?

Поезд дернулся, и мир пошатнулся: деревья, дома, жидкость в бутылке — все, даже солнце, подпрыгнуло. Затем платформа тронулась, медленно стал двигаться состав, точ-

нее, это небо над головами трех бродяг пришло в движение, другие поезда тоже пришли в движение. Весь мир куда-то поехал, а солнечная платформа стала единственной неподвижной точкой во вселенной, вокруг которой ускорялся и закручивался в спирали хаос — сперва убежали куда-то поезда, затем деревья, зеленые холмы и маленькие домики тоже понеслись прочь.

Кая эта перемена нисколько не испугала, он так и лежал, глядя на проносящиеся пейзажи, слушая веселый перестук колес.

— Да это в натуре просветленный кот! — закричал в восторге сын. — Сидит и в хуй не дует, ему все по барабану, этому коту!

Отец лишь многозначительно отхлебнул из бутылки. Поезд выехал из пригорода и несся теперь по зеленой равнине, на которой то тут, то там были разбросаны редкие деревеньки, паслись тучные стада, сверкали озерца и речушка вилась серебряной лентой в кустистом лоне прибрежных ив.

— Охуенский кот! — не унимался сын, перекивая лязг сцеплений. — Это просто бомбический кот, бля, я тащусь от этого кота, — он смеялся и неистовствовал, повторяя в своем безумстве, словно заклинания, подобные фразы. — И прекрасная эта хуйня, и трава, и небо и все, все, все, все! — он вскочил, рванул ворот рубахи, и пуговицы, маленькие пуговицы с розовыми полосками, разлетелись прочь. Ветер растрепал его волосы и обнажил впающую грудь.

Отец только хмыкал, бормотал что-то под нос, улыбался немало грустно и прикладывался к бутылке.

Путники сошли на жаркой полуденной станции, среди разморенных поездов, в маленьком городке, в городке заходящего солнца. Кай увязался за людьми, за бродягами, идущими невесть куда, в переулки предвечерней истомы. На улицах городка, пол-

Кошачий мёд

нящихся праздными летними людьми, праздными летними животными, праздными летними птицами — уставшими и очень легкими.

Кай побежал вперед и нырнул в прохладный переулок.

— Эй, куда ты? — крикнул сын и побежал следом. Нос к носу он столкнулся с каким-то лысеющим человечком. Человечек неловко завалился на задницу, уронил пакеты, из которых посыпалась еда — яблоки, колбаса, несколько консервных банок.

— Извините, — пробормотал молодой бродяга и бросился собирать рассыпанные богатства.

Человечек встал, отряхнулся; он выглядел немного раздраженным, он поправил толстые очки в роговой оправе.

— Эт, вы простите нас, — пробормотал подоспевший отец, — мы не хотели ничего плохого.

— Да-да, — быстро бормотал сын и судорожно запихивал продукты обратно в пакет, — держите, вот, вот все ваше.

Человечек продолжал смотреть, казалось, он был очень недоволен, даже зол, он что-то напряженно обдумывал, на лбу залегла тяжелая складка.

— Забирайте, — наконец сказал человечек. — Держите, держите. Вам пригодится, поешьте. А мне — нет, никогда, — он нервно тряхнул головой, — себе еще куплю.

— Ну, спасибо, — ответил отец, заглянул в пакет, сунул туда руку, радостно и жадно ощупал колбасу, консервы, овощи, хлеб.

— Спасибо, мужик, — сказал сын. — Нам пригодится, но скажи, мужик, в чем дело? Решил в благородного сыграть? Или что не так по жизни?

Человечек дернулся, переступил с ноги на ногу, прежде чем ответить, замялся и закусил губу.

— Неважно, не ваше дело, — буркнул он и зашагал прочь, бросив на асфальт и второй пакет. По асфальту покатались апельсины, в мерцающие влажные дребезги разбилась банка с кабачковой икрой.

– Ебана-воробана! – воскликнул сын. – Батя, глянь, тут дохрена всего! Даже пивко есть! О да, добрый пивчик – это то, что нам нужно сегодня!

– Агась, – отец старательно корябал коросту на затылке. – Что странный он какой-то.

– Может, – ответил сын. – Но мы-то че поделаем? Спасибо ему. Ебать, тут еще и святые, мать моя Мария, святые сижки! Это джек-пот!

– Ну, пусть у него заебись все будет, у мужика, – изрек отец в пространство, не обращая ни к кому конкретно. – И это, кота надо покормить, вон сколько жратвы у нас! Кыс-кыс-кыс... А, бляха, где он?

– Пропал? – сын оглядел переулок. – Эх, сука, пропал, мировой, самый заебатый кот был! Ну ебана-воробана!

– Да-а, – протянул отец, закуривая. – Этот котяра принес нам удачу. Но раз ушел – так и пушай, пушай еще кому-нибудь по-счастливится сегодня.

Бродяги обыскали весь переулок, немного постояли, посмеялись, да и пошли восвояси, дымя сигаретами.

Перед Каем снова возник железный, разделяющий миры монолит.

– Ты откуда такой, котик? – спросил лысеющий человечек в толстых очках. – Вот взял, увязался за мной зачем-то, куда тебя девать, скажи, а?

Кай громко мяукнул.

– Извини, но мне нечего тебе дать, я все отдал бомзам.

Кай промяучил еще несколько раз.

– Ну что тебе надо, гость полночный? – улыбнулся сквозь боль человечек. – Сейчас не полночь, а ты не ворон, иди вон, поохоться, мышек полови, радуйся жизни, если можешь.

Кай молча посмотрел на человечка, наклонил голову, но с ме-

Кошачий мёд

ста не сдвинулся. Человечек нервно почесал висок, огляделся вокруг, как будто кто-то мог уличить его в том, что он разговаривает с котами, или бог его знает в каких еще грехах. Быть может, застав его в такой ситуации, люди догадаются, что он до сих пор мастурбирует? Человечек поймал себя на этом страхе, еще сильнее сжался, посерел, помрачнел, а потом раздраженно, словно бросая кому-то вызов, сказал:

— Пошли, гость незванный, — и черным ключом-магнитом отворил зачарованный портал меж мирами.

По ту сторону портала была лестница, на которой, как и заведено издревле, пахло собаками, людьми, едой и всякими-разными благами тесных комнатушек. Кай третий раз в жизни переступил порог междумирья, но на этот раз, он знал, ненадолго.

Человечек открыл перед Каем дверь и впустил его в бежевую, залитую зеленоватым светом квартиру. Внутри она будто законсервировалась в пыли безысходного одиночества. Обои — простые, с овощами и ромбами, желтый и зеленый, в прихожей — зеркало, дальше — зал с ковром, старые книжные шкафы, ломящиеся от пыльных фолиантов, древних фолиантов с пожелтевшими страницами, на полках — какие-то фотографии, искаженные от старости, оплывшие.

На кухне, куда в первую очередь устремился Кай — ведь любой кот всегда знает, как найти самую важную часть человеческого жилья — стоял маленький столик, на столике — пепельница, рядом — два стула и старый жужжащий трескучий холодильник, на стене — очередные фотокарточки.

— А-а, голодный все-таки... — какое-то слово застряло в горле человека, он сделал усилие над собой и слабым, раздраженным и одновременно извиняющимся голосом выдавил: — ...бандит, — и неуместно заулыбался, он хотел выглядеть веселым.

Кай перевел взгляд с холодильника на человека, а потом на

фотографии.

— Мои карточки, — сказал человек. — Только они не старые, я на телефон фотографирую и потом делаю их, ну, будто бы старыми. Мне так нравится. Выхожу, людей фотографирую, пока они не видят, я тихонько, да... — он неловко замолчал, будто снова опасался выдать страшный секрет, и, сделав очередное усилие над собой, продолжил: — ...но у меня есть и пленочная камера, ты не подумай чего такого про меня, ладно?

На черно-белых фотографиях были люди, смазанные силуэты прохожих, улыбающиеся дети, старушки-торговки с местного рыночка. Еще были растения — одуванчик, какие-то цветы, пожухлые листья, были здания с пустыми окнами, трубы заводов, линии электропередач. Все черно-белое с желтоватым оттенком — все какое-то далекое, законсервированное, законсервированная жизнь. Кай мяукнул.

— Ах да, да, — человек отвлекся от своих снимков, открыл темное и почти пустое нутро холодильника. — Ну вот, лампочка сломалась, — пробормотал он, ощупывая руками какие-то банки, и, наконец, достал несколько старых сосисок, очистил их от кожуры и положил на пол. Сосиски пахли невкусно и немного позеленели, их запах вызывал легкую тошноту. Кай осторожно обнюхал их и съел только одну, из вежливости.

Человек трясущимися руками приготовил себе кофе, неприятно бьющий в нос запахом специй и пыли.

— Котик, грязный ты, да... — он замялся и снова сделал над собой едва заметное, но тяжелое усилие, чтобы продолжить. — Гость полночный, что расскажешь мне? Да нет, — на его лице проявилась какая-то злобная и страдальческая гримаса, — неважно уже, уже ни хрена не важно, — он со сдавленным остервенением стукнул кулаком по столу, по клетчатой желто-зеленой клеенке. — А что важно в жизни, а, котик? Да, откуда тебе знать...

Кай запрыгнул на стул, поглядел в глаза человека сквозь толстые стекла очков, в оплывшие, в тяжелые, в мутные умные глаза,

Кошачий мёд

и отвернулся.

— ... Откуда тебе знать, ты и сказать-то ничего не можешь. Вон люди, у кого семья, у кого жена, дети, деньги. А у меня, у меня нет ничего, ничегошеньки. Это ладно, умные люди говорят — пустое. Экклезиаст говорит — суета и томление духа все это. Но ты, правда, не подумай чего, котик, я не религиозный, я не как все. Бог мне не поможет, да и верить в него не хочется, — человек сунул трясущуюся руку в карман. — Блядь, сигареты тоже бродягам отдал, — выругался он, потянулся к подоконнику, нашарил пачку, достал оттуда папиросу и продолжил свою мысль. — Опиум для народа это все. Слушаешь?

Кай жмурился от солнца, проникавшего сквозь щель между задернутыми шторами. Как только щелкнула зажигалка и человек сделал первую затяжку, кухню затащило в другое измерение, все увязло в янтарной смоле, даже жужжащая у грязного потолка муха. Кай, кажется, мог различить движения ее крылышек. Дым жемчужными, иссиня-белыми клубами повис в желто-зеленом мареве, медленно раскрываясь узорами, застревающими, с трудом пробивающими себе дорогу в вязком пространстве.

Что-то подобное Кай уже чувствовал раньше и не раз, обычно это предвещало вкус кошачьего меда, но не сейчас. Это была магия человека, она была черна и грязна, как смола, как рыбы внутренности, как деготь. Точнее, она была желтой с виду, в разрезе — мертвенно-зеленой и оставляла осадок черной горечи, но не такой горечи, которой обладает кошачий мед, потому что горечь кошачьего меда — в принятии и любви, а губительной и вредоносной горечи, которая суть отрицание.

— Вот так вот, котик, вот такая вот жизнь. А я что, а я... — человек сделал усилие. — Я заебался, котик. Родился, да не пригодился, — смола, бурлящая внутри его грудной клетки, нашла выход наружу, потекла изо рта черными струйками. — А я ведь профессор! Ого-го! Пыльный старикан, отглагольные существительные собираю, изучаю Чехова, занимаюсь фотографией и пляжусь на своих

студенток, но они, они, блядь, так далеко, эти сучки! – вскрикнул он со злобой, потом вжал голову в плечи, словно ожидая удара, и продолжил извиняющимся тоном: – Ой, что я говорю, что я говорю, дурак! А... – он замолчал и продолжил только спустя несколько секунд: – Вот, вот, мне эпитафию даже некому сочинить. И все-таки к черту все! Я никому не говорил, но... – он огляделся по сторонам и понизил голос до полупшепота, – но я мастурбирую на фотографии своих студенток. Хочешь, покажу, котик? – он крепко затянулся папиросой, а потом снова резко сжался и дрожащей рукой схватил себя за волосы. – Дурак! Дурак! Дурак! Черт, докатился, с котом разговариваешь!

Кай не шевелился и выглядел умиротворенным, хотя магия человека его душила. Он уставился в единственную точку, в которую мог смотреть, и стал как бы прозрачным, невидимым и – неуязвимым для этого яда. Потом медленно повернул голову, перевел взгляд на солнце, на комнату, залитую янтарем, и муха снова зажужжала, время ускорило в тысячу раз. С новым вдохом Кай ощутил вкус жизни. В этот момент даже у человечка в глазах молнией сверкнуло какое-то просветление.

– Я... – он осекся и затушил папиросу, ошалело глядя в пространство, но тут же, Кай это увидел, попался на крючок надежды. – Быть может, я смогу измениться, смогу смеяться полной грудью, смогу найти женщину? Все-таки попробовать, а? – и тут же его скрутила судорога страха. – Нет, без толку, это все временное, ерунда, ерунда. Как же я все ненавижу! – крикнул он и запустил пепельницей в старенький холодильник. Потом замолчал и закурил еще одну папиросу.

– Котик, извини меня, – сказал человечек, кусая свои большие розовые губы. – Я должен тебе сказать, должен. Это невыносимо, боль невыносима. И не в женщинах, и не в мастурбации, черт бы ее побрал, и не в реализации желаний дело, хотя и во всем этом тоже, но что-то жрет мое сердце, жрет изнутри, я сам, я сам жру себя, кот! Ты понимаешь!? – он сорвался на дикий вопль. – Это

Кошачий мёд

не-вы-но-си-мо! — а потом снова сжался, съежился, на виске его пульсировал маленький сосуд, на лице выступил пот, человечка била мелкая дрожь. Кай смотрел.

— Я, знаешь, — снова зазвучал голос, тихий и прерывистый, человечек задышался, — я убью, — он говорил это шепотом, как последнюю, самую сокровенную и самую постыдную тайну, — я убью себя сегодня, знаешь, сегодня вечером, — он задохнулся от своих слов, но собрал всю волю в кулак и продолжил, глядя мутными глазами в глаза Кая. — Я прыгну, я сделаю это, я прыгну с моста на закате, в десять-ноль-ноль вечера. Вот так и будет, так будет хорошо, ведь все, все ужасно. Но будет хорошо. А теперь, теперь все, все, все, хватит, хватит, хватит... — последние слова прошлестели слабым ветерком, взъерошившим осенние листья.

Человечек испытал облегчение от того, что высказал, наконец, все, глаза его заблестели и покрылись желтой пленкой, а изо рта, из носа, из ушей его, словно из перерезанной аорты, выплескивалась черная смола.

Человечек схватил Кая обеими руками и выбежал с ним прочь — из квартиры, из подъезда, за дверь — и выкинул его, словно использованную салфетку, на асфальт. Врата в мир людей захлопнулись, Кай стал вылизываться. А профессор с тайным ужасом и ликованием убежал прочь и заперся глубоко в своей комнатухе. Кай оказался единственным существом, посвященным в ужасную тайну одинокого человека.

Это был совсем небольшой городок, и даже в его центре, полном машин и домов, без труда можно было найти тихий уголок. Стоит сойти с главной улицы, и вы попадете в привольное место, где можно ходить по земле без асфальта, где стоят домики, огражденные лишь забором — грань между мирами здесь не так жестка и сурова, особенно для кота, который гуляет сам по себе.

Вот и Кай гулял по высокому железному забору, наслаждаясь

солнцем и лаем собак. Все давалась ему легко. Чего бы он не пожелал — все появлялось, он привык. Стоило подумать о еде, как неподалеку, рядом с мусоркой, он находил аппетитный кусок, словно специально оставленный здесь для него, или вдруг замечал нерасторопного толстого грызуна, настичь которого — дело одного прыжка. Он мог охотиться и на птиц, скакавших неподалеку в поисках зерен и червячков, но не делал этого. Почему-то Каю не нравилось убивать птиц. Иногда ему хотелось летать так же высоко, как умеют они.

Довольный и сытый, Кай забрел в тенистое заброшенное здание, чтобы немного поспать. Он был уже взрослым, повидавшим многое котом. За долгую жизнь на его теле осталось множество ноющих ран, но сейчас боль его не беспокоила. Однако поспать не удалось. Из тени под пустым дверным проемом, кирпичным красным обнаженным проемом, показалась маленькая черная тень, и еще одна, и еще. Тощие и голодные, там были другие коты. Кай их не испугался, он запрыгнул в пустой оконный проем и заглянул внутрь — там были еще коты, сколько — он не мог сосчитать. Кай улегся и принялся умываться. Тени стали медленно приближаться, голодные, дикие, один — хромой, второй — в коростах, третий — худой, словно сама смерть. Из мрака смотрело множество глаз.

Кай услышал шипение, медленно повернул голову, увидел солнечный свет — в этот момент свет как бы наполнил его зрачки золотистым сиянием, и вся обстановка преобразилась, теперь он снова был больше похож на человека, хотя и не являлся им. Сами собой появились красивые одежды и украшения. В воздухе витал аромат кошачьего меда, который кружил Каю голову, но он не поддавался искушению и в награду получил экстатическую ясность ума.

Других же котов, живущих в этом доме, в этом мрачном доме, он увидел отдаленно похожими на существ из волшебной страны, однако, в отличие от них, эти имели измученный, болезнен-

Кошачий мёд

ный вид, одежда их была – черные балахоны и какое-то рваное бесформенное тряпье.

– Чужак! – зашипел черный кот, что подошел первым. – Проваливай отсюда!

– Но почему я должен уходить? – спросил Кай. – Я хочу отдохнуть здесь. А уйду позже.

– Это – наша территория!

– Я не претендую на нее. Позвольте мне отдохнуть здесь, вечером я уйду.

– Нет! Нам тут и без тебя тошно, проваливай!

– Вам тошно, но отчего? – удивился Кай. – Сейчас тепло, здесь прохладно. В округе водятся прекрасные толстые мыши, и на мусорке есть чем поживиться. Я бы остался здесь жить, если бы не моя дорога.

– Ты пришел издеваться над нами, чужак! Нам нечего есть, охота не ладится, мышей почти не осталось, мы изо всех сил пытаемся выжить, и тебе здесь не место!

– Странные вы, – рассмеялся Кай. – Раскройте ваши глаза пошире, выбирайтесь из этого подземелья, и мир даст вам все необходимое.

– Он смеется над нами! – сказал хромой кот, второй после вожака.

– Он смеется над нами, он смеется, – разнеслось шелестом по пещере.

– Я смеюсь, а что вы делаете? – спросил их Кай.

– Мы?

– Тут есть кто-то еще?

– Он издевается над нами, – раздался шелест теней, теряющих кошачий облик.

– Чужак, ты говоришь странные вещи, – шипя и выгибая спину, молвил вожак. – Мы прогоним тебя, а если вздумаешь сопротивляться – убьем. Уходи, по-хорошему уходи!

– Я лишь хочу узнать, что вы здесь делаете?

– Что значит твой глупый вопрос? Что делаем, что мы делаем?
– вожак заглянул в глаза хромому. – Что мы делаем?

– Хотим прогнать его вон! – ответил кот.

– Пытаемся выжить, – ответил вожак, – вот что мы делаем. Каждый день пытаемся выжить, пытаемся поймать больше дичи, пытаемся найти лучший кусок на мусорке, пытаемся не угодить в пасть собакам, не оступиться, не заболеть, не умереть. Вот что мы делаем!

– Каждый день? – вежливо уточнил Кай.

– Каждый проклятый день! – рявкнул вожак и вскочил туда же, где сидел Кай, на оконный проем, и угрожающе выгнул спину, глядя Каю прямо в глаза.

– А я делаю то, что хочу, – спокойно ответил Кай. – И это – мой священный долг, который я не могу нарушить. И сейчас я хочу поспать вот здесь, разве я вам мешаю?

– Ах вот как, долг? – рявкнул кот. – Я тебя за это еще больше ненавижу, никто здесь не может делать то, что он хочет, мы лишь боремся со смертью каждый день за жалкую отсрочку. Не сегодня – и хорошо, а завтра – будет видно. Вот как мы живем.

– Вы просто забыли кое-что, – ответил Кай мягко. – Но это поправимо.

– И что же мы забыли, по твоему мнению, о великолепный? – спросил вожак с ядовитым сарказмом.

– Вы забыли, что можно делать то, что хочется. И еще вы забыли о вкусе того, что лежит за пределами этой жизни. Вы слишком увлеклись выживанием.

– Так ты решил научить нас жизни, мессия?! – вожак в ярости набросился на Кая, а за ним потянулась и вся свора. Поднялся рев и визг, шорох и шелест теней. Кай ничего не успел сделать и вскоре оказался на земле, исцарапанный в кровь, искусанный и побитый. Он поднял голову. Сверху щерилось усами яростное лицо кошачьего вожака.

– Ты псих! – крикнул ему черный кот. – Смерти не боишься?

Кошачий мёд

Кай задумался и только потом ответил:

– Нет, я не боюсь. Не хотелось бы умирать, но я не боюсь этого.

С большим трудом Кай поднялся на ноги, ему дали это сделать.

– И вам бояться не советую – выйдите на луг, посмотрите, какой тут свет, играйте, заботьтесь друг о друге или хотя бы о себе самих. Вот и все. Вы не живете, потому и смерти боитесь. А если бы знали вкус – вы бы стали бесстрашны.

Снова яростные тени бросились в атаку. На этот раз Кай успел среагировать и бросился прочь. Коты гнали его лишь до ближайшего забора. Кай проскочил сквозь решетку и был таков. Убедившись, что нет погони, он лег у дерева и стал зализывать свежие раны.

Вечерело. Медовый свет залил городок, залил весь мир – деревья, дома, людей и большой мост, по которому пролегал путь железной дороги. Это был мост над бездной. Меж двух скалистых берегов, поросших соснами, вилась золотистая бездонная река времени, беспрестанно несущая свои воды дальше и дальше к сияющему горизонту – к точке сингулярности, за пределами которой сияет изначальным светом источник кошачьего меда.

– Да это же наш чертов кот! – воскликнул молодой бродяга.

– Агг-хаа, – хрюкнул в ответ отец, он был мертвецки пьян.

– Ну что, пошли, пройдоха, найдем нам всем девочек?! – сын задал вопрос коту и взъерошил ему шерстку.

Они пошли, и непонятно было, кто кого вел – кот людей или они кота. Непонятно было, каких девочек они надеялись найти. Отец просто плелся позади, сын рвался вперед, жадно вглядываясь в город, в каждый его переулок, в каждое окно, в каждую машину. Когда мимо проходили девушки, особенно – девушки в коротких шортах, бродяга-сын едва ли не кричал от восторга.

– Вот это да! Ты глянь, какая чика!

– Красотка! Какие ноги! Ах!

— А эта, а ее глазки, уй-уй, я немею! — и так далее без конца.

Они просто куда-то шли, текли вместе с рекой, им было хорошо. Бродяги пили, кот нежился в медовых лучах солнца, кот думал о смерти и улыбался, непременно улыбался всем и каждому. Сегодня его, израненного, особенным образом переполняла любовь, она текла через край, она лилась из переполненного горшочка кошачьей жизни.

В это же время котам из мрачной пещеры несказанно повезло: кто-то выбросил рядом огромный пакет с прокисшим мясом для шашлыка. Все они, даже самые больные и увечные, сбегались на пир. Вскоре котов прогнали уличные псы, но всем удалось наесться вдоволь, и впервые за долгое время не нужно было заботиться о пропитании. Коты разбрелись по залитой светом поляне возле своей пещеры. Вожак сидел на заборе и щурил гноящийся глаз — Кай все-таки ухитрился нанести ему эту маленькую, но очень болезненную травму. Вожак смотрел на играющих братьев и сестер и тоже думал о смерти. По-кошачьему думал, и это было хорошо. Впервые он ощутил свободу, хотя, если бы сейчас увидел Кая, то без колебания бы кинулся на него с диким ревом, исцарапал бы всю морду наглого чужака и гнал бы до самого края, до края мира и времени, в горизонт, где перья облаков опадают, куда течет река времени, в неведомый и далекий горизонт. Он гнал бы Кая до самого края. Края чего, вожак не знал. Сегодня он просто вдыхал и пил всем своим сердцем кошачий мед.

А Кай настолько слился с происходящим, что ему не нужно было ни пить, ни копить этот мед — его сердце, по крайней мере, ему так казалось, само излучало кошачий мед, оно стало источником меда и его эпицентром.

— Эй ты! — крикнул сын. — Мужик, стой! — он окликнул спешащего человечка, вжавшего голову в плечи, на нем было зеленое пальто и беретка, он выглядел нелепо в такой теплый вечер, когда все люди, кроме отца-бродяги в его неизменных шапке и плаще, ходили в футболках или в легких рубашках.

Кошачий мёд

– Да стой же ты! – сын подбежал и схватил коротышку за локоть. Тот обернулся, он был в очках, он был в ужасе, он отшатнулся. – Да это же ты дал нам еды! – обрадовался сын. – Спасибо тебе хотим сказать, от души!

– Да... да... пустяки, – заикаясь, ответил человечек. – Мне, это, бежать надо.

– Да стой ты, мужик! Я ничего плохого не хочу тебе сделать, стой! – сын ухватил его за рукав.

– Не о чем, не о чем больше говорить, не о чем... – бормотал человечек, но никак не мог вырваться из крепкой хватки.

– Странный ты, мужик. Может, какая помощь нужна? – предložил сын.

– Молодой человек... – начал человечек, глядя мутными глазами сквозь толстые стекла очков, и осекся.

– Так помочь, как? – еще раз спросил сын. – Айда с нами!? Мы идем, кста, а куда мы идем, а, батя?

– А... – отец как будто очнулся ото сна, огляделся по сторонам и показал в сторону моста, видневшегося вдаль. На лице человечка отразился настоящий ужас. – Туда идем... – отец икнул, и снова его глаза заволокла пьяная пелена.

– Вот туда и идем! Да, да, мать его, туда! – закричал сын. – Залезем на ебучий мост, свесим ноги и будем песни петь да в речку поплевывать, а?

– Не надо на мост! – испугался человечек. – Там охрана, знаете, вас в полицию заберут.

– А мы их обойдем!

– Там никак не обойти

– Значит, полиция нас заберет и нам будет где ночевать, верно говорю, а, батя?

– А, а-а...

– Верно говорит, я батю знаю, ката в мешке не присоветует!

– Я... Знаете, юноша, я, я...

– Идем! – крикнул сын и зашагал в сторону моста решитель-

ным шагом. Отец плелся следом, и Кай семенил, не отставая ни на шаг.

– И ты здесь! – неприятно удивился человечек, узнав того самого кота.

– Да! Это мировой кот! – крикнул ему сын, и профессор вздрогнул, словно уличенный в страшном преступлении, словно кот мог все выболтать. Человечек замолчал, но все-таки, непонятно почему, пошел следом за бродягами. Он проклинал и себя, и этих людей, и весь мир. В его голове роились идеи, как отделаться от них. Перенести смерть на другой день? Или пойти вместе и самому незаметно броситься в пропасть? Просто и незаметно броситься в пропасть, сгинуть навеки в бездне времен и никогда больше не существовать, больше никогда.

– Еб твою мать! Ну и девочки у вас в городке! – закричал сын человечку. – Скажи, мужик, а у тебя жена есть?

– Н-нет, нету.

– Один живешь?

– Д-да.

– Эх ты! Такие девахи тут, а ты один!

– Да куда мне...

– Эй! Ты вон в самом расцвете сил! – сын рассмеялся, а профессор совсем сжался, закутался в пальто, втянул голову в плечи, словно хотел, чтобы ее не было вовсе.

– Да я не шучу, мать твою, я не шучу. Ну, допустим, молодые на тебя не посмотрят, так ты не отчаивайся, и на твой возраст найдется бабенка, а! Будь только смелее, эй! Ну ты чего, совсем как черепаха голову вжал? Знаешь что, – бродяга сорвал беретку с головы человечка и лихо нацепил на себя.

– Молодой человек! Что вы себе...

– Все в порядке! А вам не надо стесняться себя, вон какая у вас сексапильная лысина!

– Молодой человек!!!

– Да что вы заладили! Да, я молодой, и да – человек, – рас-

Кошачий мёд

смеялся Сын. – Я грязный и немый, и мы с батей кое-как перебиваемся, ну и что же теперь? Мне с жизнью покончить надо, типа, кирдык, хана, в петлю, под поезд, с моста, а?

Профессора словно током ударило, он затрясся, а в голове пронеслось: «Он все знает! Он точно знает! Кот выдал ему мою тайну!?»

– Конечно, нет, – рассмеялся сын. – Жизни радоваться надо, а вот вы, простите меня, вы, конечно, почтенный человек и все такое, но вы – это пиздец какой-то!

– Что!?

– Да я ничего плохого не хочу вам сказать, но вы – просто пиздец. Посмотрите на себя, словно профессор какой-то в своем пальто!

– Да я и есть...

– Постойте, дайте доскажу. Вы как будто никогда из дому носу не кажете или из кабинета там какого-то пыльного учреждения, конторы, что у вас? Только не говорите, мне похуй, на самом деле, похуй, где вы там сидите. Но сегодня просто охренительный день, и знаете благодаря кому?

– Да знать я не желаю, почему это у вас денек задался! Мне-то какое дело!

– Благодаря вам, дубина!

– Мне!?

– Благодаря тебе, прости, мужик, что на «ты», но сегодня двум бродягам есть че пожрать, – сын радостно махнул пакетом. – Кстати, пивас мы выпили, но есть еще немного бухлишка, – он пошарил в пакете и протянул профессору бутылку.

– Нет, я не...

– Пей, говорю, а то ниче не поймешь, – бродяга сунул бутылку в руки профессору, тот взял, понюхал, но пить не стал.

– Смотри, какая крошка, – сын показал на женщину лет сорока, блондинку с большими губами. – Хочешь ее?

– Нет, – буркнул профессор.

– Пидора ответ, – и сын залился таким громким, диким и отчаянным хохотом, что прохожие стали коситься и отходить в сторону. – Да, профессор, или кто вы там, господин офисная, прости господи, и вы простите, крыса, но вы – пиздабол. Все вы такие там у себя, в этих крысятнях, вас за человека никто не держит, и вы туда же. Не обижайся, мужик, не обижайся, я ведь не про тебя, не про настоящего тебя говорю, я тебя всей душой люблю, поверь, и желаю тебе добра, всего-всего, бля, огромного, невъебенного, во-от такенного добрища! Но профессор этот, крыса эта, которая живет в тебе, – говно полнейшее.

– Знаете, – человечек наконец смог вставить слово в длинную тираду сына, – а я и есть самый настоящий профессор, и вы... ты прав, я – говно полное, я – ничтожество, я... да ничего я не стою!

– Ну и ну! Заговорил, голос поднял! Я – такой да сякой. А вот скажи, женщину вон ту хочешь?

– Да какую женщину!? Я...

– Да ту, блондинку! Не делай вид, что не понял меня. Честно, да или нет?!

– Я, нет, то есть...То есть, не знаю, – замямлил профессор.

– Хочешь, значит. Так вот иди и познакомься с ней.

– Я!? – человечек удивился до крайнего испуга. – Нет. Нет. Нет. И нет. Человеку не полагается вот так, быть вот таким животным!

– Стоп, стоп. Стоп! – сын встал на месте, и вся компания остановилась, даже Кай. – Вот что, профессор, денег дай.

– Что?

– Что слышал. Денег, говорю, дай – немного, рублей сто.

– Зачем это?

– Дай, не пожалеешь.

– А, да что уж там! – раздраженно сказал человечек и достал аккуратный старый потертый кожаный кошелек и отсчитал сперва сто, потом – двести, потом поморщился и протянул бродяге весь кошелек.

– Эй, ты чего? – сын поднял бровь.

Кошачий мёд

– Берите, праздник вам будет, мне это больше не надо.

– Да ты ебанулся, мужик?! – сын выхватил две сотки из его руки, но кошелька не тронул.

Он убежал куда-то с деньгами, а профессор остался со старым бродягой и котом. Он переминался с ноги на ногу и напряженно молчал, отец присел на бордюр, обхватил голову руками и стал что-то бормотать, а Кай лег рядом.

– Ну, что, котик? – обратился к Каю человек. Он говорил отрывисто и задыхался в своем пальто от жары, на лбу выступили капельки пота, руки дрожали. Кай посмотрел в ответ, немного печально, с кошачьей улыбкой.

– Ну что ты так смотришь!? Как в душу, и ... – человек наклонился к Каю и зло зашептал ему на ухо: – Зря ты рассказал этим бродягам нашу общую тайну, зря, котик, ничего хорошего из этого не выйдет!

А Кай глядел сквозь очки прямо в глаза профессора, смотрел неотрывно, и невозможно было понять, то ли он все понимает, то ли не понимает совсем ничего.

– Держи! – закричал прямо в ухо профессору сын.

– Что? Что? Кто? Я? – человек забавно подпрыгнул на месте и завертел головой.

– Конь в пальто! Ты. На, вот, – сын всунул ему в руку красную-алую-закатную розу, одну, а сам приложился к новой, только что откупоренной бутылке портвейна.

– Зачем мне все это? – в одной руке профессора все еще была бутылка, а вторая теперь была занята розой.

– Это ты дай сюда, – сын отобрал бутылку, – а сам иди и познакомься с ней.

– Я!?

– Мать твоя!

– Но, позвольте...

– Хуёльте! – сын поставил обе бутылки на асфальт. Одну из них тут же ухватил, казалось, дремавший отец, сделал несколько

глотков, обнял бутылку и весь как-то сжался, съежился, словно ему было холодно. Сын же схватил профессора за плечи и подтолкнул в сторону блондинки, которая все еще сидела на скамейке и что-то упорно высматривала на экране смартфона.

– Я не могу! – закричал человечек. – Не могу и не могу, и все!

– Не хочу, не буду, да-да, слышали это уже! Давай, вперед, мужик, только действие, только свобода, только ветер и только солнце! Пошел!

– Да не могу я!!! – в отчаянии закричал человечек. – Ведь я всего лишь человечек!

– Так стань Человеком! Языка, что ли, нет? Рук? Ног?

– Не в этом дело! – профессор впервые повысил голос, он дрожал от страха и ярости.

– Я тебе, сука, сейчас пинка дам, чтобы полетел к ней на всех парах!

– Не могу! Я вам ясно сказал, молодой человек, и вообще, в конце-то концов, что вы себе позволяете! Я...

– Головка от хуя! – закричал сын во всю глотку. – Ты никогда в жизни ни на что не решишься, так и будешь сидеть в своей пыльной херне! Повеситься можно от твоей жизни. Меня тошнит от тебя, реально тошнит! А ты можешь подохнуть в любой момент, хоть сегодня вечером! Как жил крысой, так и помрешь...

– ДОВОЛЬНО! – взревел профессор громким, ясным, яростным и немного дрожащим голосом. – Это не ваше дело! Не ваше дело! Кто вы такой, почему лезете в мою жизнь?! Я вас знать не знаю, катитесь к черту! Катись к черту! Катись к черту! – голос человечка ослабевал и давал хрипотцу, его бил крупная дрожь, он бросил цветок на землю и растоптал алые лепестки. Кажется, он плакал, всхлипывал в наступившей тишине и прятал лицо. Сыну нечего было ответить, и человек быстро-быстро зашагал прочь. Кай громко замяучил.

– Уж ты-то не добавляй... – сказал коту хриплым голосом сын и закурил сигарету. – Я как лучше хотел, эх, бать, а ты чего дума-

Кошачий мёд

ешь? Батя?

Отец сидел, покачиваясь из стороны в сторону, он обнимал пустую бутылку.

– А, старый черт, опять наебенился, и что нам теперь делать? Эх...– сын вырвал пустую бутылку из рук отца и с размаху разбил ее об асфальт. Прохожие вздрогнули, спрятали взгляды и отошли от греха подальше. Сын сел на бордюр рядом с отцом и обнял его.

– Эх, батя, батя, эх, жизнь моя жестянка...

Отец отчего-то заплакал и обоссался, а сын, обнимая его, шептал что-то ласковое на ухо. Кай тоже терся о морщинистую руку старика. Потом все замолчали, прислушиваясь к биению своих сердец, к дыханию и преходящим мыслям.

– Так, – отец неожиданно встал, разорвав оцепенение, пошатнулся. – Пошли.

– Куда? – ответил сын тусклым голосом.

– Мы сегодня куда-то шли, бляха-муха, раз шли – надо идти...

– Куда, батя?

– А куда ты этого прохвестора отправил?

– В пизду! – развеселился сын. – Я ему жену найти хотел.

– Да не, куда мы шли-то?

– Так туда, – сын ткнул пальцем куда-то вперед. – Ты сам туда хотел.

– Куда?

– Да я-то откуда знаю, ты ж хотел идти! – вспылил Сын, резко замолчал и радостно воскликнул: – А-а-а! Так мы на мост хотели пойти, на этот прекрасный старый чертов ебучий мост через бездну!

– Вот и пошли, – пробубнил отец.

– Батя, а ты уверен? Ну, типа, там полиция, все дела...

– Бре-е-ехня!

– Чутье у тебя отменное, как у старого пса! Раз брехня – то брехня, батя у меня не пиздабол! – сын посмотрел на Кая и вставил в зубы очередную сигарету. – Бать, а че делать-то там будем?

– Не задавай глупых вопросов, щенок!

– И все же, че тебя туда так тянет?

– Да чую просто, надо.

– Надо так надо. Пошли.

Компания, продираясь, с боем прорываясь сквозь улочки городка, миновала скверик, милый скверик с детишками, играющими, с девушками, разморенными солнцем, предзакатным медовым солнышком и временем-временем, с парнями, и кошками, и собаками, и зелеными-зелеными деревьями, невероятно, словно из рекламного ролика зелеными.

Чем ближе к мосту, тем уже становились улочки, они становились похожими на лабиринты из заборов, бетона, решетчатых окон. Казалось, город пытается запутать путника, пытается всеми правдами и неправдами отговорить путника, заставить свернуть с пути. Город даже угрожал – лаем собак, разбитыми бутылками, колючей проволокой. Через колючую проволоку, старую и ржавую, пролезть оказалось несложно. Отец зацепился за нее и порвал плащ, в остальном обошлось без приключений.

Вблизи мост являл собой впечатляющее зрелище – это было бетонное чудовище с красной, словно у динозавра, спиной. В алых отблесках заката он казался пугающей цитаделью, он казался огромным мифическим зверем, которого предстоит покорить, нет – не покорить, а лишь коснуться – и это пугало еще больше. Даже Кай чувствовал страх, он боялся подниматься на мост, хоть и знал, что ему нечего там бояться. Мост внушал суеверный страх, это был не мост, это было древнее божество, это был путь и врата, даже более важные, чем железные двери мира людей.

Отец скатился, чертыхаясь, по сваленной куче мусора, за ним последовали и остальные. Сын подхватил Кая на руки, они стали подниматься по красной обшарпанной лестнице у одной из ног

Кошачий мёд

древнего левиафана. Бродяги оказались на технической дорожке, расположенной прямоком под рельсами, это был длинный коридор с решетчатым полом, под которым виднелась бездонная река, головокругительно далекая, манящая бездна.

Так они пошли по громыхающему железу вперед, опираясь на красные перила, разглядывая массивные опоры из металла и бетона, разглядывая далекую и спокойно-быстротекущую воду. Это был поход в вечность, путь в вечность для глупых надломленных марионеток, путь в вечность для бродяг. На то они и бродяги, ибо им некуда больше идти. Отец, Сын и Кот, на то они и идут этим путем, идут в сиянии вечной славы, блаженные и несчастные. Но это только видимость несчастья, ибо они – почти Будды, без пяти минут Будды, без одного малюсенького шажка в вечность Будды.

Впереди показалась темная фигурка. Человечек увидел бродяг, запаниковал, нервно заерзал и, набравшись смелости, перелез через перила и встал на железную платформу, на маленькую платформу, сваренную из рельсов, обтянутую решетчатой сеткой, платформу без перил, сделанную специально для рабочих, специально для самоубийц. Человечек уставился вперед – в даль, в горизонт, откуда текла река. С противоположной стороны на его спину падали, просвечивая сквозь тело левиафана, причудливые алые лучи солнца.

– Да это же профессор, мать его! Эй! – сын замахал рукой, но отец раньше понял, в чем дело, и с неожиданной прытью рванулся вперед, за ним – и сын, расплескав брызгами и утратив за полсекунды свою лучезарную улыбку. Так они побежали наперегонки, толкаясь, побежали к перилам, к человечку, к Человеку над бездной. Профессор неловкими, дергаными движениями сорвал пальто и бросил вниз. Оно медленно, словно опавший осенний лист, улетело вниз, ударилось о бетонную ногу левиафана, скользнуло по ней и скрылось в пенящейся бездне, уплыло в неведомые края, где нет моли и тлена. В глазах сына-бродяги стояли воображаемые кровавые разводы в воде, такие, словно это было

не пальто, а живой человек.

Теперь профессор был в одной лишь рубашке с туго застегнутым на самую последнюю пуговицу тугим воротником, в галстук, стягивающем, словно петля, шею. Из всех сил он втягивал голову внутрь грудной клетки, шея была напряжена до предела, на висках вздулись и пульсировали сосуды. Он замер, встал неподвижно и вдруг резким движением разорвал ворот рубахи – отлетела пуговица, он сделал несколько рваных вдохов и выдохов, снова замер, сделал шаг к краю, но остановился, затравленно оглянулся.

Бродяги замерли, затаили дыхание, с ужасом глядели на человека. Кай чувствовал важность момента, Кай чувствовал борьбу человека, Кай любил человека изо всех сил. Не было сейчас ничего важнее этого человека. Кай молчал, находился рядом, присутствовал. Это то, что может сделать кот.

– А... – начал сын, но осекся, издав только неопределенный звук.

Профессор сделал еще шаг. Долго-долго, целую вечность он стоял на краю на краю, глядя в текучее жерло материи, готовое милосердно поглотить его, впитать, разорвать на тысячи атомов и сотворить из них нечто новое. Казалось, голова профессора поднялась до самого неба, словно небоскреб, она касалась неба, голова пробилась в небе концентрическую дыру, в дыре была самая суть черноты, нисходящая градиентом синего цвета, от темно-вороного к небесно-голубому – в зеленый и, наконец, – от зеленого к оранжевому и красному, искрасна-красному, ало-кровоавому. От черного к красному. И в этот момент, на грани времен, когда профессор был готов скинуть себя самого в бездну, когда он жаждал этого, как единственно возможного освобождения, в эту секунду все, кроме этой грани, перестало существовать. Он больше не был профессором, он больше не был несчастным или счастливым, он вообще не был кем-то. И в этот момент головокружительного полета над бездной человек закричал, закричал так, как никогда в

Кошачий мёд

жизни не кричал, вся боль, весь яд, все напряжение – все выходило наружу в этом ужасном боевом кличе. Человек кричал, кричал, забыв о себе, забыв о страхе, забыв обо всем и пребывая в крике, он кричал ужасно, он кричал отвратительно и впервые, быть может, не задумываясь о том, что о нем могут подумать, в этом крике была его сокровенная страшная тайна, этот крик и был его сокровенной страшной тайной, этот вопль был его лучшей симфонией, полетом ужаса и восторга. Из надорванной глотки уже выходил не крик, но глухой хрип. Выкричавшись, до капли выкричавшись и замолкнув, человек пошатнулся, едва не упал вниз и тут же, осознав это, попятился, в ужасе рухнул на перила.

– Я не могу, не могу, не могу, не могу... – хриплым сорванным хнычущим голосом повторял он, а из глаз катились крупные слезы.

В этот момент мост содрогнулся, все оглохли от шума и грохота, производимого товарным составом. Мост трясся, содрогался, словно раненый, словно почти поверженный левиафан, скрипел. Человек закрыл глаза и лег спиной на решетку шаткой платформы. Он сильно боялся, но вдруг ему стало смешно, и он дико, необузданно засмеялся, засмеялся так, как смеются колеса поезда, проезжающие по рельсам, как смеются камни, катящиеся вниз с горного склона, как смеются безумцы и просветленные, как смеются горные пики в своем молчании, готовые низвергнуть смертоносную лавину, как смеются метеориты и звезды, мерцающие во тьме, вот как он смеялся, а потом затих, и в этот момент для него не было никакого другого более устойчивого места во всей вселенной, чем эта трясущаяся сетка над бездной.

Товарный состав был самой бесконечностью, он не мог кончиться, никак не мог. Сын рефлекторно, сам того не заметив, крепко сжал руку протрезвевшего отца, никто не мог пошевелиться, все замерло и застыло.

Когда отгремел последний вагон, наступила кромешная тишина.

Человек поднялся, посмотрел под ноги, перелез обратно и обнял бродяг, они вместе сели на решетчатый пол и поглядели вниз, на то, как река несет свои воды. Кай запрыгнул на колени к человеку, едва не ставшему самоубийцей, и ласково замурлыкал. Отец протянул человеку бутылку, тот сделал несколько жадных глотков, настоящих, полных жизни глотков обжигающей глотку ядовитой дряни, которая пришлась к месту, которая, хоть и была черна и убийственна, но в этот момент была чистойшей, непоколебимо святой амритой.

Бывший профессор улыбнулся и прикрыл глаза, он увидел этот свет, заливающий все, как и бродяги увидели это по-своему, как и видел, и вкушал, и делился им Кай – кошачий, да и не кошачий, да и не мед на самом деле, а нечто всеобъемлющее, вневременное и вечное, объединяющее все вещи, саму любовь.

И на самом деле не было никого на этой платформе, было только одно единое целое.

Закат потух, стало темнеть, подул прохладный ветер, и человек сказал:

– Возможно, мне стоит познакомиться с той блондинкой, а?

Сын вопросительно посмотрел на него, не выдержал и засмеялся во всю глотку, засмеялся, хрипло кашляя, и отец. Они смеялись вместе и, через отчаяние очистившись, поднялись и зашагали назад – в город людей. А Кай остался, его путь вел на другую сторону.

На другой стороне реки был сумеречный темный лес. Кай долго и опасливо брел по нему, пока не вышел на темную проселочную дорогу. Кот зашагал по ней, он привык ходить человеческими тропами – возле них всегда была пища и легче было найти теплое место для сна.

В это время по дороге домой возвращался водитель, он был пьян и не беспокоился об этом, потому что не мог причинить вре-

Кошачий мёд

да на этой дороге никому, кроме себя самого. Его пикап вилял из стороны в сторону, а из окон неслась громкая музыка.

Кай слышал шум, но не обратил на это никакого внимания, он устал, он был полностью расслаблен.

В этот момент пикап снова занесло. Водитель услышал визг, машину тряхнуло.

Человек проехал еще немного, остановился и вышел из машины. Он поморщился, увидев окровавленное тело кота.

– Извини, приятель, – пробормотал он и выкинул тело Кая на обочину.

ЭПИЛОГ

– Сестра, скажи, почему ты оставила меня так рано?

– Ты и сам неплохо справился, – рассмеялась Герда. – Разве я не права?

– Да, но мне не хватало тебя.

– Со мной ты бы учился очень медленно и, возможно, ничего бы не понял.

– Я и так почти ничего не понял, а если и понял что-то – это лишь жалкие крохи истинного знания.

– К тому же, – продолжила Герда, словно не слышала последнего замечания, – это была игра пространства, ты ведь не мог ожидать своей смерти, вот и я не могла. Но она пришла вовремя, всегда вовремя.

– Всегда вовремя, – улыбнулся Кай.

Перед ним стоял изящный горшочек – фигурка в форме кота, именно такой кот, каким он был в жизни, только без всех царпин, с целым ухом. Это была изящная кошачья ваза, передающая пропорции не очень точно, но вызывающая к себе какое-то непоколебимое доверие. В ней плескалась прозрачная золотистая, светящаяся сама по себе жидкость, терпкая и сладчайшая.

– Кошачий мед, – улыбнулась Герда.

– Да, – сказал Кай, – Вот он, немного я собрал за свою жизнь.

Кошачий мёд

– Но и немало, – улыбнулась сестра.

– И что мне теперь с этим делать?

– Послушай сердце, оно подскажет, как распорядиться кошачьим мёдом.

– Сердце...

– Да, сердце.

– Послушай, Герда, я понял, что кошачий мёд – он исходит прямо из сердца, что он вездесущ, скажи, почему...

– Тихо, сейчас не время для вопросов, сейчас время ответа, – она улыбнулась. – Слушай свое сердце, только оно может дать ответ.

Кай помолчал, потом обнял сестру.

– Я люблю тебя, Герда.

– И я тебя, мой мудрый брат.

– И еще, Герда, я знаю, что делать.

Кай опустил руки в чашу, зачерпнул горсть меда и резко подбросил вверх – мёд превратился в свет и разлетелся повсюду, достигая каждого кота во вселенной и не только кота – достигая каждого человека, каждое животное, растение, достигая сердец всех существ.

Мир утонул в золотистом сиянии.

ЕНОВЫЙ МИФ

О конце и начале

Даня Гольдин



Енотовый миф

Внешний (Верховный) енот Енотх, вычесывая из меха на пузе крошки погрызенных галактик, обнаружил на глянцевом абсолюте своих ладошек два волоска: один был Черный, другой – Белый. Так познал Енотх, что полосат, и устыдился, и впал в великую тоску.

Приунывший и недвижимый, он созерцал волоски, пока не стало время вспыхнуть первому солнцу. Оно осветило расколовшийся разум, и Енотх решил было примириться с собой, но не смог, так как не мог больше забыть, что полосат. Разделенный на Черное и Белое, больше никогда не сможет Енотх мирно спать в гармонии серого уюта на чердаке заброшенной Вселенной, давно покинутой хозяевами. Енотх вздохнул, и молочная слеза покатила к кончику черного, как дыры в прогнивающей крыше, носа, и ослепила Енотха брызгами новорожденных солнц.

Возмущенный, Енотх хлопнул себя по носу сразу обеими лапами и поймал свою сияющую слезу между двух волосков. Так, подавленный несправедливостью мироздания, создал Енотх Диск и отдал ему знание о Черном и Белом, чтобы примириться со своей полосатостью.

Сотворив Диск, Енотх поместил его в колыбель меж своих ушей и сел печально полоскать время в порывах солнечных ветров зацветающей Вселенной, ведь теперь только дети Диска могли принести ему мир.

Прошли миллионы лет, и эволюция на Диске докатилась до того, что с белой его стороны из морской пены вышел белый енот Бенот. В тот же миг на черной стороне из мусорного бака вылез черный енот Чернот.

Белый Енот был жирен и пушист, как просроченный тунец на помойке за японским рестораном. Черный был худ и облезл. Но оба они ничего о себе не знали, ибо белый был слеп от света, а Черный был слеп от тьмы.

Знали Бенот и Чернот только три вещи:

1. Енот всегда знает, где енотий хвост, ибо енот не может потерять хвост из виду;

2. Нет того, до чего не дотянется енотья лапа, а до чего не дотянется, в том можно и усомниться;

3. Они любят друг друга достаточно сильно, чтобы друг ради друга отправиться на край света.

На белой стороне Диска жили белые еноты. Они, конечно, тоже были полосатыми, как все уважающие себя еноты, но все полосы у них были белыми, для поддержания чего еноты белой стороны каждое утро принимали ванну из кокаина. Кокаина было предостаточно, поэтому все еноты белой стороны были ответственными, приветливыми и обстоятельными. Экономика белой стороны процветала, что делало енотов еще холенее и упитаннее.

На черной стороне жили черные еноты. Все вокруг них было черным-черно, но поскольку ничего другого они не знали, то, в общем-то, не расстраивались. Ведь глупо жить, постоянно расстраиваясь, даже если вокруг черным-черно. Вот и еноты с черной стороны так думали.

И голодали. Потому что расстраивайся не расстраивайся, а в темноте ничего не растет, кроме скользких грибов. Поэтому еноты черной стороны ходили худые, облезлые и раздражительные, особенно по утрам, когда им приходилось купаться в нефти для поддержания черноты.

Учитывая эти культурные различия, неудивительно, что, отрянувшись от пены, которая ничуть не подмочила его лоснящуюся репутацию, белый енот Бенот сразу отправился на край света навстречу своей любви. Чернот же, отрянувшись от помоев, отправился искать пожрать.

Долго ли, коротко ли шел Бенот до края земли – то нам неизвестно, поскольку несла его туда дорожка приключений, но вот Черноту путь до ближайшей помойки показался проклятущей вечностью, и его лапы клеились к ней с каждым мучительным шагом, втирающим нефтяные подтеки в раскаленный добела

Енотовый миф

черным солнцем асфальт. Смерд грязного города безжалостно грыз обонятельные луковицы Чернота, утягивая его с пути ма- нящими из решеток коллектора щупальцами пустых обещаний. Но Чернот так устал питаться ими, что упрямо брел к своей цели, никуда не сворачивая, переставляя непослушные от голода лапы.

Впрочем, на свалке еды тоже не оказалось, как и вчера, и позавчера, и все дни до этого, а только бродил там один старый и мудрый Ворон. Он долго следил черным глазом за Чернотом, пока тот тщетно перебирал обломки енотьей культуры, а потом подсказал к нему и сказал, что Чернот потерял что-то важное и что он, Ворон, напомним ему, если Чернот заплатит. У Чернота не нашлось ни гроша, потому что откуда вообще возьмутся деньги у енота, и тогда Ворон предложил:

– Позволь мне выклевать твой глаз. Я возьму его в качестве платы.

Чернот согласился, ведь был слеп от тьмы и в глазах, в общем-то, не нуждался. Ворон выклевал глаз Чернота и улетел, а с его крыльев цвета воронова крыла рассыпался кокаиновый снег и тут же растаял в мазутной слякоти, на черной облезлой шерсти, оставив на высунутом языке Чернота горечь утраты. Ведь увидев белый снег, разом понял Чернот, что потерял...

А потерял он время. Потому что белый енот Бенот уже давно и довольно бодро совершал свое путешествие к краю земли, а Чернот страдал какой-то фигней и прилично опаздывал.

Осознав это, Чернот отряхнулся и бросился на край света, ведь все же любил Бенота достаточно сильно, чтобы оторваться от мусорных баков. Это, впрочем, не стало помехой тому, чтобы залезть в «ну последний!»

«Я люблю идиота», – подумал тем временем Бенот и печально вздохнул, потому что одновременно с Чернотом тоже потерял глаз, ведь «в болезни и здравии...», и был Бенот от этого, конечно, не в восторге, но в общем склонялся к мысли, что настоящая любовь того стоит.

Долго ли, коротко ли семенил Бенот по белоснежной пудре томимых солнцем пустынь, но однажды ночью в ущелье соляных гротов он набрел на молочный оазис, где жил уже сотню лет мудрый белый енот Енфуций. Он ушел сюда в поисках уединения, чтобы медитировать и искать истину внутри себя, но в итоге обнаружил: там, где енот слишком долго один, всегда появляются двое, и в один из бесконечной череды прекрасных солнечных дней не прогнал белого Ворона. Теперь тот сидел на плече Енфуция, наблюдая за спускающимся вразвалочку в ущелье, чуть жирноватым от хорошей жизни Бенотом.

– Что там, за краем земли? – спросил Бенот у старца. И Енфуций ответил:

– Однажды мертвая птица упала в самый центр этого озера кокосового молока, и я думал о ней семь лет и семь зим, как она куталась в мягкий ил, как тонула в нем и уходила куда-то глубже, глубже, и каждое утро я спрашивал: «Хорошо ли лежится тебе, птица?» А через семь лет прилетел ко мне Ворон и принес на крыльях Знание.

Бенот, охваченный трепетом ускользящего непонимания, которое, в общем, преследовало его всю жизнь, поборол страх быть осмеянным мудрым Енфуцием и спросил, что все это значит. Енфуций долго смотрел на него туманными енотскими глазами, и белый Ворон смотрел на него внимательными вороновыми глазами, и когда солнце окутало нимбом седую енотью голову, старик сказал:

– Выпей молока из озера, где лежит мертвая птица.

И Бенот, порядком утомленный тернистым путем к мудрости, был рад исполнить его завет и тут же сладко уснул под раскидистой кокосовой пальмой, дававшей прохладную, но не менее белую, чем все вокруг, тень. И снилось ему, что он открывает сундук со всеми-всеми на свете тайнами, но каждая тайна - белый голубь, и они разлетаются, стоит ему попытаться схватить хоть одну.

А на утро Енфуций растолкал Бенота кончиком своего посоха

Енотовый миф

и сказал, что Бенот забыл что-то важное, и старый енот напомним ему, если тот заплатит. У Бенота при себе не было ни гроша, и даже не потому что он енот, а потому что привык инвестировать каждую копейку в перспективные енотьи проекты, а оттого, хоть и регулярно попадал на первые полосы енотьего Forbes, денег имел не больше, чем Чернот.

Тогда Енфуций предложил ему:

– Пусть мой Ворон выклюет тебе глаз, это будет твоей платой.

Но Бенот, конечно же, отказался, потому что подумал о Черноте и о том, что ему совсем не хотелось бы, чтобы Чернот ходил без двух глаз. Подумал и поспешно достал из воздуха грош, который все же носил там, чтобы при случае эффектно показать фокус с монеткой. Случай как раз представился.

«Я люблю капиталистическую свинью», – подумал в этот момент Чернот, сам не зная отчего, ведь знать о том, что сейчас делает Бенот, он не мог, и никакой телепатической связи с ним не имел, так что принял эту мысль как данность, не подозревая о том, что капитал не только угнетает рабочий класс, но с той же легкостью выкупает енотий глаз.

Тем временем Енфуций взял у Бенота грош и отдал белому Ворону, завещав принести диетической колы. И мудрый белый Ворон захлопал крыльями цвета... в общем, крыльями белыми и растворился в солнечной пурге в направлении ближайшего автомата с газировкой, а по пути обронил одно перо, и спланировало оно в лапы Бенота, и Бенот поймал его по наитию врожденной енотьей мудрости или из праздного енотьего любопытства – кто разберет енота – и увидел, что самый край белоснежного пера сияет каплями черной нефти, и, замороженный, смотрел он на черные капли миг, час или день, пытаясь осмыслить Знание, пока не вспомнил наконец, что забыл.

А забыл он себя. И, вспомнив, вставил перо за ухо и побежал на край света, оставляя в кокаиновом песке следы четырех лап и иногда провисающего животика, который, надо отметить, по-

рядком убыл за долгое путешествие из зоны комфорта на самый край земли. И нет-нет да и останавливался иногда Бенот, чтобы посмотреть еще раз на перо и убедиться, что глаз не обманывает его, ведь белый енот не привык верить своим глазам, даже когда было их у него два.

Чернот тем временем брел задумчиво по нефтяным пустошам, размышляя, не привиделся ли ему белый коксовый снег. Ведь когда ты слеп от тьмы, а вокруг черным-черно, увидеть белый снег подобно прозрению – возможно, слишком тягостному для разума енота, и прозрение это теперь грызло его изнутри вместе с голодом, ведь, казалось, значило так много, а в общем-то не значило ровным счетом ничего, и Чернот уже даже не был уверен, что видел что-то особенное, и уж тем более не знал, как применить свое озарение на практике.

Да и край света был уже близок – за грудой изношенных покрышек, а любви все не было, Бенота нигде не было. И тут понял вдруг Чернот, что и не видел его никогда – этого Бенота, которого так любит и ради которого оторвался от мусорных баков, ни разу не трогал, не нюхал и не вычесывал, только в мечтах своих, и даже не знает, как его искать, и есть ли, и был ли такой где-нибудь, кроме как в его голодном до счастья енотьем уме.

И с каждым липким шагом влипал он все глубже в тоску, столь едкую и прилипчивую, что уже на самом краю света, где дальше расстилался только глянец нефтяного океана в клубах зыбкого черного морока, не встретив никого, Чернот сел, обессиленный, в мазутную лужу и затосковал всей своей темной енотьей душой. О чем и от чего – сам он не знал или не стал говорить. А только обводил уставшим глазом одинокие пики гор из старых покрышек и выброшенные на берег унылые мусорные мешки, которые уже даже не пытались чего-то ему обещать, неотличимые друг от друга во тьме вечного неразложения.

И тогда, отчаявшись, Чернот задал Вопрос, самый обычный, ничем от других не отличающийся, никем никогда не запрещав-

Енотовый миф

шийся и не порицавшийся, ведь не было у енотов черной стороны ни норм, ни законов, ни запретов, ни табу, ни правил, ведь были еноты черной стороны свободны, а оттого иногда очень несчастны. Не было у них запретных сказаний, а была лишь старая сказка о том, что кто задаст Вопрос, тому явится мигом или великое счастье, или вечная печаль, а зависело все лишь от того, как посмотреть. Только смотреть никто не умел, а оттого Вопрос на памяти Чернота никто не рисковал задавать. И был этот Вопрос:

– Зачем?

– спросил Чернот, всплеснув мазутными лапами, обращаясь то ли к черному солнцу в клубах тумана, то ли к стертому протектору ближайшей покрывки, то ли к самому Еноту, то ли к себе самому.

И добавил в сердцах, с презрением глядя в свои черные ладошки, не отличимые от черного неба:

– Енот на еноте и енотом погоняет. Енотом больше, енотом меньше – все равно черным-черно. Так Зачем?

И никто ему не ответил во мраке, и даже эхо потонуло в резиновых пустошах и мягком тумане. Только белая мертвая птица всплыла вдруг в паре метров от берега. Всплыла, задрав в черное-черное небо скрюченные белые лапки и раскинув безвольные белые крылья. Всплыла из самых глубин океана и начала подниматься над ним, парить, будто была жива или будто что-то тянуло ее из черного океана в черные небеса, и ни одной капли горючей нефти не осталось на ее белоснежных перьях. И Чернот смотрел уцелевшим глазом на белую птицу и видел, впервые видел, а не только знал, что существует, ведь только ее он мог различить во тьме.

И Чернот заплакал. Впервые в жизни горючими енотыми слезами заплакал. Хотя, может быть, все только потому, что не мог без слез смотреть, как столько еды пропадало зря. И только подумал он это – белая птица встрепенулась в черном небе, чирикнула и улетела.

Тогда, вновь ослепший, заплакал Чернот пуще прежнего и умылся слезами, и смыли его слезы черную-черную нефть с Чернота, и утекла она черным ручьем в океан, и Черноту ничего не осталось, как пойти за ручьем и подойти к самому краю, ведь, в конце концов, где одна мертвая птица воскресла из нефти, почему бы не воскреснуть второй, где-нибудь поближе...

Тогда заглянул он в масляную гладь и, хоть была нефть черным-черна, увидел, как отражались в ней белые полосы. И сияли они ослепительно ярко, так, что почти вдруг ослеп он от света на последний глаз. Но все же были меж ними и черные полосы. И черный енотий глаз. Так познал Чернот себя. И потянулся к отражению носом, и коснулся его...

Тем временем на белой стороне дорожка, обычно не уводившая его дальше края стола, привела Бенота на самый край земли. Там на белом пляже у бескрайнего молочного океана раскинулись райские кущи из кокосовых пальм и приглашающе стоял свободный шезлонг. Не встретив никого, кто походил бы на Чернота, да и вообще никого не встретив, Бенот решил, что его любовь просто запаздывает, и принял заманчивое предложение лежачего положения.

А приняв его, вдруг задумался, как он узнает Чернота. Ведь не видел его, не слышал, не вычесывал, не нюхал его и даже не нюхал вместе с ним, а только думал о нем постоянно всю долгую дорогу, но откуда же он о нем знает и есть ли такой вообще?

Благо от тревожных мыслей Енота отвлек появившийся неизвестно откуда улыбчивый енот-официант с подносом, на котором красовался стакан кокосового молока и гроздь белого винограда, размерами не уступавшая самому официанту.

Официант, надо сказать, был даже упитаннее Бенота, порядком схуднувшего за долгое путешествие, и этот факт, вместе с урчанием возмущенного живота, толкнул Бенота к вспышке енотьего обжорства. И нельзя его в этом винить: какой енот откажется, когда официант бережно берет с подноса налитую соком ягоду,

Енотовый миф

кладет тебе в рот и ждет терпеливо, когда ты насладишься, чтобы предложить следующую.

Много ли, мало ли времени провел так Бенот – хотя, конечно, скорее много, ведь был он енот, но проверить мы все же не можем – и наконец наелся так, что самого его распирало, как каждую из съеденных им ягод. Тогда енот-официант с поклоном удалился, оставив поднос на столике у шезлонга.

Енот же, убедив себя, что сможет еще, потянулся к винограду, но уже слишком объелся и с трудом держал лапу в воздухе, с трудом даже фокусировал слипающиеся глаза – так морил его послеобеденный сон – и не дотянулся до грозди... И усомнился сквозь наваливающуюся дрему. Ведь нет того, до чего не дотянется енотья лапа. А если до чего не дотягивается – в том можно и усомниться. И усомнился в недоступном винограде Бенот со всей искренностью сытого енота, которому жизнь никогда ни в чем не отказывала, и так сильно было его сомнение, что гроздь исчезла.

А дремотное сомнение для сытых енотов бывает не менее соблазнительным, чем мусорные баки. И тогда, усомнившись раз, сытый, может быть, – хотя в это сложно поверить – сытый чересчур, начал сомневаться Бенот во всем, до чего не мог дотянуться, начав с бокала кокосового молока. Затем протянул лапу к солнечным очкам на столике рядом с шезлонгом, к пальмам и райским кущам, и даже перо с каплей черной нефти не смог достать из-за уха, и все это исчезло. А Бенот уже было потянулся к самому солнцу, но тут вспомнил о Черноте и испугался раньше, чем успел засомневаться. Тогда, порядком встревоженный, отогнав рои мыслей, с трепетом попробовал Бенот дотянуться до себя самого и не смог через раздувшееся пузо. И усомнился в себе, и исчез.

Но, конечно, тут же появился обратно, всклокоченный и недовольный, вынырнув из небытия и оставив там все сомнения и даже часть обеда, потому что вообще-то там было очень некомфортно, если не сказать – жутко, а у енотов, особенно страдаю-

щих легким ожирением от хорошей жизни, сердечко слабое.

Ужас несуществования порядком отрезвил Бенота, и он стал методично отряхиваться, стараясь сбросить с каждого лоснящегося волоска оковы сомнительной меланхолии. И вполне успешно, потому что почувствовал себя ощутимо бодрее и даже чуточку голодным. А вместе с сомнениями стряхнул он с себя и всю кокаиновую пудру, годами тщательно втиравшуюся в шерсть.

Тогда, свободный от сомнений, решив, что себя он, пожалуй, тоже любит достаточно сильно, чтобы в себе не сомневаться (ну и почему бы и нет, раз Чернот ради него смог оторваться от мусорных баков), Бенот подошел к краю земли, чтобы умыться в молоке и окончательно сбросить морок, и, когда заглянул в молоко, увидел, что на него смотрела оттуда полосатая морда. И черные полосы сияли ослепительным черным, и Бенот тут же чуть не стал слеп от тьмы, впервые увидев себя. Но меж черных были и молочно-белые полосы, и хитрый енотий глаз. И потянулся Бенот к отражению носом, и коснулся его.

И тут бы, конечно, встретиться Черноту и Беноту носами, но...

Все же они были енотами. И хоть и пошли они на край света навстречу своей любви, никто не указывал им, на какой именно край надо идти. И правильно делал – ведь нечего указывать енотам, что им делать. Еноты и сами все отлично знают, даже если не задумываются. Чернот и Бенот как раз все знали, но не задумывались. Поэтому, оказавшись на самом краю Диска, прозревшие в духовных откровениях, волей случая, или судьбы, или чего там еще, одновременно сунув голову под поверхность бесконечного океана, они не стукнулись лбами, потому что пришли к противоположным краям.

Так что Чернот, выглянув над молочной кромкой, тут же ослеп от света, а Бенот, отфыркиваясь липкой нефтью, – от тьмы. В недоумении замерли еноты не то там, не то тут, отключив енотьи попы, заглядывая за край Диска и ничего не видя.

И стояли так долго-долго, и тосковали все больше, раз и за

Енотовый миф

краем земли не встретила любовь, и от отчаяния могли бы уже махнуть на все лапой и дать унести себя океану молочной нефти...

Но все же они были енотами. И не только знали, что делали, но и еще три вещи...

А главное – оба видели свою полосатость. И, на удачу, было еще кое-что, что увидели они, заглянув за край света. Пусть и не сразу, пусть только отчаявшись и присмотревшись, увидели они, что маячит на противоположном краю Диска одинокий полосатый енотий хвост. Ведь то было единственное черное на белой стороне и единственное белое на черной. А ведь енот, особенно енот прозревший, не может потерять из виду енотий хвост. И тогда стало очевидно обоим, что любовь – она вот, только лапу протяни. И нет того, до чего не дотянется енотья лапа, особенно если отбросить сомнения.

И, упершись лапами в самый край Диска, Чернот протянул лапу через весь белый мир и ухватил Бенота за хвост, а Бенот, оперев свои в белый песчаный край, протянул лапу через черный мир к хвосту Чернота. А ухватив раз, стали тянуться к своей любви что было енотовых сил...

И тянулись так сильно, что Диск пошатнулся в колыбели между ушей Енотха, и съехал вниз по его носу и полосатому животу на сухие чердачные доски, и покатился дальше между пыльных галактик под ватное Магелланово облако. А Енотх, тут же бросив все важные дела Верховного Енота, кинулся за ним по чердаку и долго, долго шарил лапой в мутном молоке туманностей, возмущенно чихая, когда надоедливые сверхновые выбрасывали копившееся миллионы лет раздражение в чуткий енотий нос. И когда наконец нашарил Енотх свой драгоценный Диск, то узрел, что он ровен, спокоен и полосат и лучится нежностью двух енотов, все-таки нашедших друг друга и пребывавших теперь везде и нигде, в сердце каждого полосатого енота на каждой стороне Диска.

Тогда Енотх, протерев Диск от налипшей космической пыли абсолютом своих черных ладошек, положил его на язык и принял в себя любовь своих черно-белых детей. Так простил он себе полосатость и улегся вздремнуть, пустив время на самотек.

СТЕПНОЕ ЧУЧЕЛО

Владимир Клейнерман

Его соорудили восемнадцать лет назад под палящим солнцем.

Тот июль выдался особенно знойным. Лишь изредка обрушивался дождь и прохладные капли стекали по длинным, отломленным от громадного тополя ветвям. Ветви служили руками. Правда, руками безжизненными и безвольными: они годились лишь на то, чтобы раскачиваться, если нарастал ветер, да подпирать грузное туловище из перевернутого жестяного ведра. Головой служил старый цветочный горшок, а лицо отсутствовало вовсе. Может быть, поэтому он оставался недвижимым: боялся, что сделает шаг, оступится, упадет – и собирай его по всей степи. Нет, уж лучше просто стоять там, где его и сделали, тем более что яростное солнце каждое лето теперь напоминало о первом годе существования, вызывая какое-то сладкое и щемящее чувство. Он даже и не слишком сетовал на пекло – так, редко-редко, если был не в настроении.

Он не мог провести черту между небытием и бытием. Просто так сложилось, что отдельные его части, наделенные слабым подобием воли, соединялись, и воля эта все нарастала и нарастала, пока, наконец, к днищу ведра не прибили горшок. Тогда и стало понятно, что он – это он.

Чучело, стоящее посреди степи.

Будь у него глаза, он увидел бы четверых мальчишек лет шести-семи, которые бегали вокруг и потешались над своим творением. По-доброму так потешались, с восторгом. Одно дело – лепить куличики из песка, и совсем другое – сделать нечто по-настоящему совершенное. Он увидел бы, как перед ним мельтешили яркие майки, а вдали таился небольшой городок, откуда дети пришли на окраину травяного моря и куда отправились, оставив чучело один на один с собой, стоило только солнцу подступить к горизонту.

На следующий день они пришли снова. Он чувствовал едва уловимую дрожь земли под подошвами детворы, вибрации воздуха, и это было приятно, но детские игры казались ему слиш-

Степное чучело

ком лихорадочными, слишком расторопными, слишком поверхностными. Он бы хотел разорвать оцепенение, сковавшее его, но оно всякий раз оказывалось сильнее, и не получалось показать детям, как стоило играть. Хотя, если подумать, что могло только родившееся чучело знать об играх? Вполне вероятно, что именно это останавливало его. Тем не менее, часто он сам становился невольным участником: например, когда играли в голю, то голящий непременно со всего маху ударял по ведру, а оно отзывалось гулким эхом, давая остальным понять, что охота открыта. Один из мальчишек принес с собой мелки и в перерывах между забегами потихоньку раскрашивал ветки-руки чучела. Разноцветные известняки скребли по грубой коже, оставляли след и радовали, и он спрашивал себя, что чувствовали мелки, когда из них по песчинке изымали жизнь? Или же ничего страшного не происходило и такова природа всех вещей?

Один из ребят так носился, что изрядно вспотел, и, как назло, тогда же налетел холодный ветер. На следующий день мальчишки не навестили свое творение. То шел третий день его существования, и он стоял посреди степи, безглазо взирая на город вдалеке, который оставался так же слеп и нем, притаившись между черными террикониками. Солнце лениво осмотрело чучело с востока на запад, закатилось и предоставило эту возможность луне, но она, по всей видимости, отказалась и укрылась за тучами.

И потянулись однообразные дни, которые, бывало, скрашивали птицы. Они садились ему на руки, и после каждой такой встречи на ветках оставалось все меньше и меньше цветного мела, пока однажды не пошел дождь и не смыл его окончательно. Так был усвоен урок, что в мире нет ничего по-настоящему вечного.

Трое из его создателей объявились только под конец лета; он не мог увидеть, но в степь они вышли с новенькими рюкзаками, с которыми должны были скоро отправиться в школу. Он радовался, что дети пришли, и тоже стал полноправным участником их великих несерьезных мистерий. Они общались с ним как с жи-

вым, и он внимал каждому слову, чтобы ненароком не пропустить что-то важное. Из их разговора стало ясно, что у Костика, того самого мальчишки, который простудился в прошлый раз, проблемы со здоровьем куда серьезнее, чем казалось, и он вместе с родителями уедет лечиться далеко-далеко, и никто не знал, когда он вернется.

Поэтому у сегодняшней их игры оказалось двойное дно: вроде бы все происходило как и в прошлый раз. Они носились, заливались смехом, дурачились с чучелом. Но за каждым действием таилась невыразимая для детских уст тоска: казалось они пытались прочувствовать каждый миг, словно второй возможности не представится. Он не знал, осознанно ли дети так поступали или же только догадывались о чем-то, но отчетливо чувствовал, что понял нечто важное. Этот короткий миг озарения стоил всех одиноких дней. Они даже лучше помогали прочувствовать это понимание, с которым он теперь собирал части мозаики своей незамысловатой жизни воедино

Тот вечер прошел под шорканье их подошв о пожухлую траву, все еще задорные крики да постукивания по гулкому ведру, которое неизменно объявляло о начале нового раунда в игре. Тогда он думал, что ему ничего-то больше и не нужно: всего того, что есть, уже хватало с избытком. Нет, конечно, в любой момент можно встать, разогнуть неподатливые руки, выпрямиться во весь рост и хотя бы разок сходить с ребятами в город, погулять по нему, встретиться с другими их друзьями и знакомыми, да ведь только ясно, что чучело так никогда не сделает. К тому же глаз у него до сих пор не было, да и рта тоже, поэтому попросить ребят взять его с собой он не в силах... А вообще чучелу вдруг показалось так приятно просто существовать в позе, которая уже стала казаться удобной и единственно верной, стоять посреди степи, подставляя себя ветру и солнцу и сама мысль о том, чтобы бросить все и вот так отправиться куда-то, постепенно начинала казаться дурацкой.

Степное чучело

Он немного расстроился под самый конец мистерии. Ребята уже собирались, а он глубоко забрался в своих размышлениях и чуть не пропустил момент, когда они уходили. А ведь дети ничего не знали о своем детище, подумал он вдогонку им. Дитя детей стало взрослее своих создателей, но при этом само не понимает, как так вышло. Но подкралась предательская мысль: если они могли просто взять и пойти, куда хотели, а он нет, то кто тогда по-настоящему выросл?..

Пришел первый сентябрь. Мальчишки приходили к нему по вечерам раз в несколько дней – зачастили, что уж сказать. Может, воздавали за августовское одиночество. Как бы то ни было, он в самом деле радовался вместе с ними, слушал про первые оценки в школе, про домашние хлопоты; шуточки их стали малопонятны, но он слушал все равно. Это еще одно прекрасное время, которое с любовью вспоминалось потом на протяжении многих-многих лет. Потом, когда выпал первый снег, а на улице стало холодней, дети стали проводить свое творение реже, но все так же исправно. За первой осенью – первая зима, когда он утонул в рыхлых сугробах, которые так и остались пушистыми на всю зиму. Нога человека не утрамбовывала их, как в городе, и коммунальщики не соскабливали льдистую корку, которая образовывалась после. Жизнь в степи затихла и заснула. Он, даже не имея глаз, догадался, что солнце все быстрее обегало свой привычный маршрут, а ночь растягивалась в бесконечность. Еще он понял, что дети не приходили к нему всю зиму из-за ранней темноты, поэтому не расстраивался. Да и чего тут расстраиваться, когда есть столько времени, чтобы обдумать все, что так долго занимало цветочный горшок.

Поскольку он уже давно усвоил, что нет в мире ничего вечно-го, эта первая зима тоже должна была когда-нибудь закончиться. Так и произошло. Мальчишки снова приходили к нему, пару раз даже приводили то ли одноклассников, то ли ребят со двора, но они потешались над чучелом да и над самими мальчишками во-

все не по-доброму, поэтому больше одного раза их не появилось. Так он понял что-то о добре и зле. Когда стоишь на одном месте в степи, поневоле начинаешь во всем видеть огромный смысл, и холодными, длинными зимними ночами он увлекался смутными размышлениями о вещах, которых не понимал, но чувствовал через своих создателей – не зная в точности, как обстоят дела у людей.

Основательно в его памяти отложились события только первого года жизни: воспоминания о них словно прорезались сквозь замызганный пластик цветочного горшка, и грязь с пылью внутри пропитывалась квинтэссенцией каждого прожитого дня. Это чувство оказалось настолько сильным, что по прошествии даже десяти лет он мог погрузиться в те далекие времена и заново прожить все. Воспоминания откладывались по кругу, как будто внутри горшка постоянно елозило перо, описывавшее все, что происходило с ним. Правда, когда перо завершило первый круг и принялось за новый, восприятие мира для чучела слегка притупилось: мир стал не таким запоминающимся и будоражающим, ведь что менялось? Конечно, он примечал, как постепенно грубел тембр голосов у ребят, как их топот становился мощнее, но разговоры вроде бы оставались теми же. Или это он уже не замечал в них новизны?

Когда чучелу исполнился год и еро первый раз совершило полный оборот внутри него, дни полетели так же быстро, как гаснут искры от бенгальского огня – разливались по степи дожди, лужи тут же обращались в пар под палящим солнцем, а потом с севера налетал леденящий ветер и снежило. Затем снег таял, отдавал воды местной речушке, которая шумела неподалеку, и вскоре наступало половодье. А потом – все заново.

Чучело догадывалось, что с людьми все происходило примерно так же. Но отчасти они подчинялись собственному неясному распорядку: в один год мальчишки месяцами не казали носа, а потом объявлялись чуть ли не каждый день. Тогда, помимо бес-

Степное чучело

конечных раздумий, он вслушивался в их разговоры, с болью отмечая, что сам все меньше и меньше волнует их. Теперь не стало больше никаких мистерий. Теперь «у чучела» значило лишь тайное место для своих. Они настолько привыкли к чучелу, что убери его – и не сразу заметят. Но если он сам принял такие правила игры, то к чему жалобы? Он ведь давно мог дать понять своим творцам, что ему хотелось бы жить по-другому. Но нет, он так и остается мирно стоять, пока рядом ребята обсуждают собственные дела, никак не связанные с ним или степью. Все их желания и заботы там, в городе.

Иногда по вечерам он признавался себе, что совсем перестал понимать этих людей. Раньше он смотрел на них свысока, молча козыряя абсолютным пониманием всего и вся, что происходило в мире, но теперь мир стал слишком широк и необъятен для такого жалкого создания, как он. Из-за того что время ускорилося, он и не понял сначала, что не может больше вникнуть в разговоры – уже не мальчишек, но парней. Они будто проросли куда-то вдаль, а чучело все так и оставалось стоять в степи.

Только он мог различить тревогу, неумело скрытую за бахвальством и напускной беззаботностью. Теперь слышалось уже не три, а только два голоса, сплетавшихся в единый поток. Они перебивали друг друга и что-то бурно обсуждали. Пускай он не мог вслушаться внимательно, но догадывался, что дело было в отсутствовавшем мальчишке. Что-то плохое произошло, и в этом виноват только он сам.

После этого два создателя не навещали его очень долго. Настолько долго, что он принялся сочинять нелепую религию, в которой здесь, в степи, много и людей, и чучел, но ни у кого не было глаз или рта, чтобы увидеть или окликнуть других. Что делать с ногами и руками и почему нельзя общаться с помощью перестукивания, религия ответ не давала. Один день, растянувшийся в бесконечность. Он тосковал и в мыслях беседовал со своими создателями; четвертого он вообще помнил только мальчишкой,

и этих воспоминаний оказалось так мало. Интересно, что больше он не появлялся, как и третий. Сколько времени уже прошло с того вечера, когда все они бегали здесь вчетвером, а потом разошлись?

Однажды по сочной траве зашуршали двое. В шагах одного он сразу узнал создателя и воспарил духом, а вот со вторыми дела обстояли сложнее. Слишком легки и грациозны были эти шаги, почти воздушны. Только потом, уже по голосу, он понял, что это девушка, но, как он ни старался вслушаться, тема их разговора так же ускользала. Единственное, что он разобрал, – второму парню не стоило знать о них. На чучело они не обратили никакого внимания.

В последнее время он совершенно перестал понимать людей.

Тогда же он захотел забыться надолго, очень надолго, по-настоящему глубоким сном. Такая попытка убежать от самого себя, но затея глупая: ведь зачем бегать от того, кто все время стоит на одном месте? Перед тем как окончательно провалиться в сон, он отметил, что до этого еще ни разу не засыпал по-настоящему и даже удивился, что умеет так..

Сон оказался черным и пустым, как и все, что мог он увидеть, но в этой черноте не было ни копошащихся тут и там мушек мыслей, ни беспокойного бега времени – только чернота...

...которая закончилась неожиданно то ли осенью, то ли весной неизвестно какого года. Разбудили его звуки удара, неприятный приглушенный хруст, ругань, звуки перекаатов и приминавшихся стеблей. Он сразу понял, что дрались его создатели. И почему он не удивился такому исходу? Наверное, бессмысленно удивляться, если единственно возможный вариант действий – оставаться бессловесным незрячим наблюдателем. Что чучело создателям и что создатели чучелу? Все просто рыбешки, выброшенные из моря на берег и барахтающиеся там в попытках забраться обратно и спастись, а на деле – в агонии. Море... Интересно, откуда оно пришло?

Степное чучело

То был новый сон, подкравшийся незаметно, и для чучела эта мысль о море заструилась яркими образами, на которые только было способно его скудное воображение. Он явственно чувствовал, как двигал руками-ветвями и оставлял борозды во влажном податливом песке. Волны размеренно набегали на берег, подтапливали его рисунки, и все начиналось заново. Но он словно действительно оказался у моря и действительно видел его своими глазами, которых не существовало. Именно из-за этого он раз за разом прокручивал в цветочном горшке глупую и бессмысленную сцену.

Второе пробуждение пришло неожиданно. Нестерпимо палило солнце, и он даже удивился, как это так сладко спал все это время и даже не обращал на него внимание. Но самым главным было отнюдь не то, а удивительное чувство: прикосновение создателя. За одну секунду чучело вновь вспомнило все, что с ним произошло за эти годы. И годы эти, казалось, лежали невыносимым грузом, как бесчисленные груды старых папок с документами, которые нельзя выбросить, хоть толку от них никакого.

«А я и не думал, что встречу с тобой снова, ну, что приду сюда, – длительный сон словно вернул понимание, и он с жадностью вслушивался в каждое слово своего создателя, который на сей раз пришел один. Голос его стал еще ниже и выразительнее, чем прежде. – А ведь, посуди, ты единственный был с нами все это время. Ты даже Костика застал, пока его самого не стало. Бывает, вспомнишь про него – а в воспоминании всегда степь и ты на заднем плане чуть-чуть укоризненно так смотришь, хотя глаз-то у тебя на самом деле и нет. Жаль, что мы не нарисовали их. То ли забыли, то ли решили, что так лучше».

Он едва сдерживал себя, чтобы не задрожать и не рухнуть на землю. Когда в последний раз к нему обращались по-настоящему? Во времена мистерий? Да, те далекие мистерии. А теперь создатель изливает душу. Разве этих людей можно вообще понять?

«Сколько лет прошло, а ты все стоишь тут, стоишь. Не хочется

самому двинуть куда-нибудь? Только не как Влад. Тот тоже хотел двинуть куда-то далеко-далеко, ну вот и задвинул, конечно... Еще пять лет осталось парню сидеть».

А все-таки, подумал вдруг он, на море хорошо. Главное только – уйти куда-нибудь подальше, чтобы людей поменьше. Вот ведь как четыре человека его помотать успели, а если будут еще?..

«Евген, конечно, скотина та еще, но даже как-то обидно, что Маша потом недолго рядом с ним пробыла. Когда сюда приезжаю, все хочется заехать к нему, раз по интернету и телефону не могу. А в итоге заехал к тебе», – усмехается. По-доброму так, как в старые добрые.

«Даже не знаю, зачем это все, может, к психотерапевту пора бы записаться, да только чего они, все расспрашивать про то да се будут, а мне-то это зачем? Мне вот кого-то такого надо, кто все бы про меня и так знал. Забавно, что единственный, кто подходит, – чучело, которое я давным-давно сделал с друзьями, которых уже нет».

Если бы у него были легкие и рот, он бы обязательно рассмеялся. Все-таки люди иногда выглядят такими глупыми, но при всей глупости их хочется оберегать, поэтому чучело не рассмеялось, а только тихонько зашуршало ветвью по траве.

«Наверное, мне стоит больше спать, – создатель рассмеялся вместо него, – уже чучело у меня руками машет».

Потом он замолчал. Постоял так еще с минуту и, кажется, полез в карман. Пластмассово щелкнуло, а следом что-то влажное прикоснулось к цветочному горшку. Прохладный след оставлял за собой ощущение завершенности и... Может быть, награды?

Безо всякого сомнения, создатель подарил ему глаза, но он не хотел пускать их в дело из уважения. Пусть создатель навсегда останется в его памяти как приятный баритон. Он выждал, пока мужчина – уже мужчина! – зашагал в сторону города, а потом посмотрел на мир по-настоящему. Через нарисованные глаза.

Стояло раннее утро, и по степи еще стелился серебристый ту-

Степное чучело

ман. Он поднимался словно до самого неба, но там истончался, и сквозь серую завесу просматривалась утренняя голубизна.

Он расправил руки. Зашелестела трава, зацарапали ветки о ведро. Это чучело отправлялось вперед. Он строил большие планы на жизнь, но с самого начала стоило осуществить одну идею.

Обязательно дойти до моря и оставить пару бороздок на побережье.



ЗЕМЛЯНИЧНОЕ УТРО

Вера Богданова



Земляничное утро

В конце июня, когда колосится трава, начинает поспевать луговая земляника, которую ошибочно называют клубникой за крупные ягоды и сладкий вкус. Она растёт по склонам оврагов, по берегам рек и озёр, где много влаги. Земляника – скромная ягода, прячется от глаз, но поспевшие красные плоды её нельзя не заметить, а в сильную жару весь воздух пропитан её ароматом.

Земляника ничем не сочнее винограда или арбуза, не мягче хурмы, не слаще дыни, и, безусловно, она не самый вкусный плод на свете, потому что такого плода не существует. Каждый фрукт, овощ или ягода хороши по-своему, но поездка за земляникой составляла для нас такое необъяснимое очарование, какое никогда не обретёшь в походе к супермаркету за килограммом апельсинов или бананов.

И мы обычно всё ждали, когда же папа нам скажет:

– Детишки, ну что – за ягодкой завтра слетаем?!

– Да! Да! – с запрыгавшим сердцем отвечаем мы и сразу бежим во что-нибудь играть, скачем с собаками, смеёмся и напеваем песни.

Иногда папа предлагает «сгонять за земляничкой», а сам утром начинает отбивать косы, и тогда ему лучше не говорить о поездке, потому что он ответит примерно в таком духе: «Какая земляника?! У нас дел по горло! Трава стоит некошенная, сена такие пропадают... А зима спросит! Собирайтесь косить!»

Заготавливать сено на зиму необходимо. Мы живём на хуторе и сами себя всем обеспечиваем: сами косим, привозим сено, воду с речки, сами со скотиной управляемся, выводим коров, лошадей, ставим их на цепь, перебиваем на лугах, доим, возимся с телятами и ягнятами. В общем, работы у нас хватает каждый день.

Так вот, если папа задумал работать, с ним не поспоришь, но сегодня он настроен на поездку и поэтому идёт «налаживать» велосипеды. Мы спешим ему помочь.

У папы восемь «человек детей», но за земляникой ездят только

старшие: Лиза, Варя, Вера (то есть я), Петя и Паша. Соответственно, велосипедов в строю должно быть шесть, учитывая папин. Из этого расчёта ясно, что «колупаться» с ними придётся долго.

Папа осматривает транспортное средство, вышедшее из строя, ставит диагноз и приступает к лечению.

– Цепь надо смазать, покрышку поменять, сиденье отрегулировать. Вер, носи ключ 14 на 17.

Бегу в терраску к инструментам, копаю в папиных ящиках, перебираю гвозди, шурупы, шпингалеты, гайки. Папа зовёт:

– Ну ты идёшь или нет?

– Щас, я ищу...

Через десять минут его терпение на исходе.

– Я долго буду ждать?! – спрашивает он сердито. – Там этих ключей море! Пойду сам найду быстрее. А, нашла, ну молодец! Теперь принеси мне вот такую шайбу.

Приношу множество шайб на выбор, папа берёт одну.

– О! Во-во-во! Вот эта мне и нужна! – говорит он, смазывая эту шайбу солидолом. – У отца всё есть! Отец запасливый, ничего не выкидывал. Это алкоголикам ничего не надо, кроме вина. А я детали находил, собирал потихоньку, потому что знаешь: где-нибудь да понадобятся. Ни одной железяки не выкидывал, всё в дело пускал. Остальные унеси туда же, они нам ещё пригодятся.

Иду уносить.

– Принеси ещё кусочек проволоочки! – просит папа. Бегаю по двору, высматриваю проволочку.

– Ладно, не ищи! Я уже по-другому сделал! – говорит папа, ковыряясь в багажнике велосипеда. – Я болтик твой сюда присобачил. Закрутил намертво! Попробуй рукой.

– Ага!

– Ну вот. Принеси напильник.

Напильником мы зачищаем кусок камеры, чтобы этим куском заклеить другую камеру.

У папы все руки в солидоле, даже нос и лоб, потому что его ку-

Земляничное утро

сают комары и приходится их смахивать грязными руками. Папа перебирает все части велосипеда, которые кажутся ему ненадёжными.

– Тяп-ляп не пойдёт, надо делать как положено, – говорит он, рассматривая втулку от заднего колеса. – Вон, у Вани Лейтенанта двадцать велосипедов на чердаке стояло – и все сломанные. Ремонтировать он не умел. Голова не работала. Когда башка не варит – это страшное дело. Ну вот, теперь он как новенький! Цепь я смазал, он уже не скрипит и сиденье не шатается. А то ходило ходуном. Как тебе?

– Хорошо, – радостно отвечаю я.

– Иди, прокатнись!

Велосипед едет тихо и мягко, кажется, что он всем доволен, не дребезжит, не просит: «Сде-лай, сде-лай!».

Когда заканчивается эпопея с велосипедами, во дворе уже совсем темно. Зато все велики проверены и готовы к бою. Папа идёт отдыхать, а мы бежим на футбольное поле. Играем, пока мама не крикнет нам со двора:

– Ребята, я коров подоила, идите выводить!

Лето – пора оводов и слепней. Они грызут животных в вымя, в глаза и в живот. А с наступлением темноты эти кровопийцы прячутся в траве до тех пор, пока новый день не засияет и тепло не обогреет поля. Из-за оводов мы выводим наших животных ночью и пригоняем утром, поим и заводим в котухи, где нет кровожадных насекомых. Но сегодня мы, по настоянию папы, поставили коров у двора, чтобы они объели непомерно выросшие травы и тем самым «обезопасили» двор от осенних пожаров.

А солнце, как назло, заходит в тёмную тяжёлую тучу. Всё вокруг чернеет, накрапывает дождик. Каждая капля потихоньку смывает нашу мечту о землянике.

Папа ходит по двору, подставляет фляги под концы крыши, откуда обычно стекает дождевая вода, и торопит нас:

– Занесите вещи в дом! Всё вымокнет. Сбруя почему до сих

пор на улице?! Вот и съездили... Ну ладно, утро вечера мудренее, посмотрим...

Мы засыпаем уставшие и недовольные.

А ранним-преранним утром, когда ещё все мухи спят, к окну подходит папа и, постукивая пальцами по стеклу, говорит:

– Детишки, вставайте! Поехали за ягодкой. По прохладце прокатимся.

Лиза с Варей подрываются, точно на фугасе. Они смахивают одеяла и начинают быстро экипироваться, зудя нам под уши:

– Люди, Вер, Петь, вставайте! Чё спите?!

Мы нагло дрыхнем. Тогда Лиза применяет очень действенный метод:

– Варь, поехали без них. Пусть они спят!

Мы тут же взлетаем с коек. Начинаем собираться.

На улице слышен громкий папин голос:

– Оль, ты подоила? – спрашивает он маму.

– Да, Юра.

– Налей мне молочка парного... Вот в эту баночку, да ничего страшного... Всё, хватит. Молоко аж сладкое, хорошая у нас коровёнка, не зря мы её оставили. Это свой продуктик, у нас всё своё, мы ни от кого не зависим, никому не кланяемся, да, Оль?

– Да.

Скоро проснётся Тоня и скажет, потянувшись: «Мам, дай мне могога! Токо Троиного!» Мы пьём Троино молоко, потому что корова Ночка даёт горькую настойку из полыни вместо молока. За это её все ненавидят. Она постоянно срывается, бегают по оврагам, жрёт сорняки, бьёт ногами и хвостом в лицо, когда её доишь, и вырывает волосы вместе с репьями, которыми облеплен её хвост, вступает ногой в ведро с удоем и в довершение этого отвратительного списка ещё и совершает набеги на огород. Если во дворе слышится крик наподобие: «Стой, тварюжка!», значит, мама доит Ночку. И хоть маму очень трудно вывести из себя, Ночке это почти всегда удаётся.

Земляничное утро

Пока мы одеваемся, Петя выходит на улицу и «попадаетя»:

– Ку-уда? Босиком не носись по холодной земле! Простудишься! – отчитывает его папа. – Воспаление лёгких схватишь, и будем потом по больницам ходить... Ты со здоровьем не шути! Это тебе не игрушка! Одень щас же обувь! И не давай Бог я ещё раз увижу, как вы босиком на улицу выбегаете! Во! Молодец! Другое дело! Вот это сын! Пойдём, пчёлок глянем.

В это время я, надев штаны, кеды и куртку, выхожу на улицу. Дождя ночью не было, но ветер гонит серые тучи, похожие на волны океана. И от холода волосы на руках и ногах встают дыбом.

Корова Троя спит, свернувшись как котёнок, даже хвост прижала и прикрыла мохнатыми ресницами глаза. Овцы лежат друг на друге, как одна большая куча чёрно-белой шерсти. Собаки тоже сгруппировались вместе и греются.

Папа ходит по огороду в картошке и собирает в руку жуков.

– Вер, иди сюда, – говорит он. – Ты ещё не видела свой огурчик?

– Нет, – улыбаюсь.

– Аккуратно ступай, тут уплетни. Вон он, видишь? Я его вчера поливал.

– Большой!

– Как же, я за ним ухаживаю. Первый огурчик всегда тебе, как имениннице. К твоему дню рожденья как раз подойдёт.

Пока мы ходим вокруг уплетней, мама собирает детей в дорогу: моет ведра для земляники, ищет кружки, завязывает рюкзаки. В поездку за земляникой мы берём ведра, кружки, чтобы ягоду было удобнее собирать, велосипедные ключи и насос.

– Варя, вы всё взяли? – спрашивает мама. – Пашутка, ты наде-ла носочки? Петя, а ты?

– Да! – отвечает Петя.

– А сапоги у тебя не рваные?

– Да вроде нет.

– Ну хорошо!

– Головные уборы пусть наденут! – строго распоряжается папа, копясь в железках у дома.

– А, да, я же их приготовила! – говорит мама и убегает в дом, из которого выносит пять фуражек.

– О, вы уже готовы! – удивляется папа, заноса в дом лопаты, тяпки, удочки – всё, что мы часто бросаем «как попало» у дома. – Сколько раз говорил: не оставляйте на улице инструменты. Мало ли кто подойдёт – схватит!

Мы посмеиваемся: кругом не обитает ни души, люди бывают в наших местах совсем редко: по большим праздникам, в прямом смысле. Кому нужны наши старые лопаты и тяпки? Но папа прожил больше нас и знает, что своровать могут всё что угодно. А мы же ещё исполнены к людям добрых чувств и считаем, что папа не прав, подозревая всякого.

Покончив с лопатами, папа берёт свой велосипед и говорит маме:

– Оль, дай мне клочок бумажки, я одну деталь запишу.

Папа – писатель. Вся его жизнь наполнена осмыслением событий в стране и мире и поиском гуманистических решений любых вопросов. Даже собирая жуков, он повторяет про себя важные фразы, чтобы потом записать их и сделать статью. Его статьи никто не печатает, потому что многим всё равно, а он страдает от того, что его идеи могли бы служить всему миру во благо, но не служат.

– Э-хе-хе-хе... – говорит он, записав «деталь» и добавляет:

– Оль, прочти. Поехали, ребята. Закрывайся! – кричит он маме. – Никого во двор не пускай, ни с кем не разговаривай! Мы здесь одни!

– Доброго пути! – кричит мама и машет рукой.

– Счастливо оставаться! – отвечаем ей мы, уезжая.

Она долго стоит, провожая нас взглядом, пока мы не скроемся из виду. Она никогда не ругается, не сердится на нас и очень

Земляничное утро

любит, как, наверное, никто чужой никогда любить не будет. Но мы этого ещё не знаем. Папа тоже нас любит, но своей строгой отцовской любовью, в которой никогда не признается словами...

Чтобы попасть на Майку или под Крутец, где полями растёт земляника, надо перебраться с нашей тамбовской стороны на саратовскую через речку Карай, что течёт у нас под горой. Мы спускаемся в низину, где ивы своими зелёными шапками закрывают небо. Тут полно обжигающей крапивы и писклявых комаров, утрами ужасно холодно и пахнет сыростью, а на горе за лесом ветер переносит ароматы цветов.

Папа идёт впереди, топчет большими ногами крапиву, сгибает лопухи, обламывает ветки.

– Об эти палки глаза можно выколоть! Ночью напорешься – не заметишь! – он отбрасывает сучки далеко в сторону, чтобы не мешались.

После папы дорога словно побрита: без палок, крапива смята, лопухи сломаны у корней, можно идти спокойно, не обжигаясь, не спотыкаясь!

Папа расчищал для нас все дороги...

Иногда мы отправляемся за земляникой на лошади, но для телеги мост из одной доски мал, да и жеребец Руслан всегда упрямится около ручья, вброд боится переходить, он не раз уже с телегой увязал тут глубоко в тине... Оттого мы ездим на нём по другой дороге – верхами, это объездной, более длинный путь через плотину в селе Сальники.

Вот, бывало, усядемся мы все вшестером на нашей деревянной телеге, колёса шумят, телегу слегка потряхивает, бежит конь, машет хвостом, мелькает трава по бокам. Хорошо!

Папа держит вожжи, мне доверена хворостинка или кнут – когда как.

Но Руслан – не рысак, не беговая лошадь, его сила в выносливости. Он может пройти в день сотню километров с грузом по

глубокому снегу, но от него не дождёшься сумасшедшей скорости. Бежит он первые два-три километра неторопливым бегом, покачивая своей умной головой. А потом начинает экономить силы. Экономист он хороший.

– О как конь несётся – настоялся! – радостно кричит нам папа, перекрикивая гул от шумящих колёс и стучащих копыт. – Лиз, смотри, какой жеребец стал гладищий! Взялся за силу, а то весной еле ноги таскал, кормов не было, а щас трава вон какая, уже косить можно. Вот сюда придём, тут хороший покос! Коси – не хочу! Тут и клеверок, и пырей, и повитель есть.

Через некоторое время Руслан, как и полагается, переходит на мелкую трусцу, а затем и вовсе на шаг.

– Хэ, давай! – подгоняет папа. Руслан три метра пробегает в галоп, затем снова идёт пешком.

– Но, пошёл! – сердито кричит папа, дёргая вожжи. – Я те чё сказал?! Давай иди! Остановился он! Устал! Я тебе остановлюсь, тунеядец! А, он оправиться хочет... Ну ладно...

Руслан наваливает кучу на дорогу и снова идёт шагом.

– А ну пошёл, чёрт лохматый! Кормил тебя две недели, как на убой! Жопу отрастил, а бежать не хочешь! Ты у меня дождёшься лупцовки. Я тя щас высеку до посинения! Вер, шугни его, но не бей...

Я замахиваюсь палочкой, но действия это не производит.

– Пусть трусит! – говорит папа. – Щас доедем до той посадки, а там под горку он побежит. Он устал, шутка ли: шесть человек людей везёт. А ну давай вперёд, татарин! Разбухтелся!

Папа называет Руслана татаринном, потому что татары разводят лошадей, а кто-то сказал папе, что наш конь татарской породы.

Через какое-то время папе надоедает погонять коня, да и я устаю на него бесконечно замахиваться, и мы успокаиваемся. Кругом зелёный простор до самого горизонта, где поля обнимаются с небесами, как добрые друзья. По бокам дороги цветёт клевер, донник, колокольчики, мышиный горошек, гвоздика,

Земляничное утро

иван-чай, цикорий. Папа радостно рассматривает дали и запева-ет песню: «Гляжу я на нэбо, та й думку гадаю: чему я не сокил, чему не летаю?..» А травы всё мелькают-мелькают, удаляются родные места, уменьшается наша церковь, остаётся позади родной дом.

Но в основном мы ездим на велосипедах, поэтому надо подниматься в гору. На горе среди цветов есть наша тропинка, ведущая к дороге.

Мы бежим по ней с велосипедами, измокая в росе, счастливые, радостные. И эти играющие на солнце росинки под ногами такие же хрустальные и чистые, как детские сердца, открытые миру и открывающие мир.

Тем временем угроза дождя миновала. Серые тучи ускользают вдаль на запад, расчищая небо.

– Денёк разыгрывается! Светлынь какая! Бог нам дал погоду!
– кричит папа, сядясь на велосипед и устремляясь на рассвет к земляничному краю. Мы спешим за ним с вечными нашими спутниками-собаками: Пусей, Пасей, Мусей и Жулей.

С дороги, перепуганные нами, разлетаются кузнечики и бабочки.

Вот навстречу пастух гонит стадо коров. Он сидит на коне, в его руке длинный кнут и рядом парочка сварливых собак. Это Куренок. Он проезжает рядом со словами: «Здорово, Петрович! Куда собрался?»

– За ягодой!

– А... Ну да, она, наверн, уже дошла.

Коровы смотрят на нас с удивлением, одна телушка даже подходит близко к Лизиному велосипеду, понюхать, она совсем юная и очень любопытная. Лиза гладит её по мокрому носу.

Прорвавшись через стадо, мы продолжаем свой путь.

Перед нами поёт и шаманит деревня Сальники. Она наполнена множеством звуков. Кто-то стучит кувалдой по колышку, прибывает лошадь, чтобы она, гуляя на цепи, никуда не убежала

(для этого надо вбить кол достаточно глубоко в землю). Кто-то выпускает из курятника куриц, которые с криками «кур-ку-ру-ру» вылетают во двор. Везде лают собаки: большие – «быв-быв», «о-во-во-во-во», маленькие – «а-тя-тя-а-тя-тя-тя», мычат телята, крякают утки, хрюкают свиньи, дрендят трактора. Вот мимо нас проезжает мотоциклист с женой, что обняла его сзади. В люльке у них ручная коса и зелёное сырое сено. Они уже с утра по росе накопили его своим телятам и свиньям.

Встаёт розовое солнце, ещё прохладное, но такое ясное, как цветок, от него вся округа насыщается светом и радостью. Всё начинает блестеть и сверкать. Каждая травинка в каплях росы, чуть пригнувшись, держит эти водяные капли, сияющие своей родниковой чистотой.

Весь луг сбоку от дороги такой цветущий и такой живой, он смотрит на солнце, раскрываясь и распостряясь. И поляны кашки, клевера, иван-чая, цикория, ромашек и колокольчиков сверкают, как острова сокровищ!

А мы едем дальше. Вот пошла накатанная чёрная дорога между Сальниками и деревней Сиротка. По ней часто ездят крестьяне друг к другу и в другие сёла, а те из них – сюда. Проезжают по ней автолавки с продуктами, трактора, комбайны, машины, телеги, велосипеды. Слева от дороги высокой пшеницы рать встала тесной стеной, словно на защиту своей земли с высокими копыями из колосьев. Справа от нас поле под парами, такое же цветастое, как и луг, только трава на нём выше, потому что для отдыха поле вспахивают и земля там куда мягче, чем на лугу, где часто ходит скотина и топчет землю копытами. Проезжаем одно поле, половинку второго и попадаем на высокий грейдер – грунтовую насыпь без асфальта. Грейдер хорошо накатан, но трактора разбили часть его полотна, видны следеждевые ямы, навороченные тяжёлыми колёсами. Приходится вертеть велосипедом, чтобы не налететь на куски земли. Папа едет впереди, за ним бегут собаки и лают на все движущиеся объекты.

Земляничное утро

По бокам розовые, жёлтые, синие пучки цветов. Каждая травинка цветёт и каждая бесподобна! Даже колючки прелестны, и даже та, что у самой дороги, по которой все колёсами проносятся, вдавливая её в землю, – и та красавица! Всё цветёт пышно, вдохновенно.

Сочные травы счастливы, у них пора свадеб... Они женятся, они улыбаются, как прекрасно быть этому свидетелем! Как прекрасно под васильковым небом!

Но вот ты едешь-едешь, глядя по сторонам, и вдруг: хрясь! Что-то сорвалось, и сначала думаешь: «Ну всё, кирдык!» Но, оказывается, ничего серьезного, просто цепь слетела. Ставишь её назад и снова едешь.

Велосипеды у нас очень древние, никто точно не знает, откуда они взялись, поэтому со здоровьем у них плоховато. Вот оно и подводит. Иной раз соскакиваешь, а там – мама родная, из покрышки камера вылезла, словно толстый червяк, того и гляди прорвётся!

Варя подъезжает:

– Вер, чё такое?

И без объяснений понимает, глядя на выпяченную камеру, что у велика грыжа. Ему плохо и «бо-бо». Подъезжают Петя, Лиза, Паша, спешиваются, гремя вёдрами в рюкзаках, интересуются проблемой.

В десять рук мы запихиваем камеру обратно под покрышку. Но покрышка старая, растянутая, прилегает к ободу неплотно, поэтому камера снова выползает наружу. Надо что-то делать. Но что? В безнадёжной ситуации, когда рядом под рукой нет ничего, лишь колосистая трава, трудно что-то придумать и предпринять. Но из любой ситуации можно найти выход, имея на плечах работающую единицу. Техника служит тогда, когда служит голова. Крутишь педали в мозгах, вертятся шестерёнки, там всё едет как надо.

Мы решаем проблему за несколько секунд: достаём из рюкзака-

ка шнурок, которым рюкзак был завязан, чтобы ведро не выпало, и перематываем этим шнурком слабое место крышки, предварительно закинув туда вылезшую часть камеры. Плотнo завязываем вокруг обода шнурок и вот: крышка прижата, камера больше не пролезет и мы спокойно двинемся дальше! Завязываем рюкзак куском тряпки и едем вперёд.

Один раз у Паши рассыпался подшипник внутри рамы, который обеспечивает вращение педалей. И всё это посреди дороги – в поле. И назад не вернёшься, и вперёд далеко идти. Инструментов для такой сложной операции в нашем рюкзаке нету. Но мы не плачем. Это не про нас. Садимся в пыль у дороги с этим железным инвалидом и начинаем думать: как быть. И нам в голову приходит единственно верное решение: привязать Пашиного велик к сиденью другого велика и катить её на буксире. Отлично! Привязываем к Петинoму велику и едем дальше.

Папа уже уехал далеко, только виднеется спина его в старой выцветшей рубашке. Но когда навстречу нам едет машина, он оборачивается и кричит издалека:

– Уйдите с дороги!

Мы слезаем с велосипедов и встаём у обочины, пока не проедет этот грузовик и не обдаст нас приличной дозой пыли. Затем мы устремляемся вперёд и скоро догоняем папу.

– Летит как угорелый! Отец всегда говорил: «От дураков по-дальше», – рассуждает папа о проехавшей машине. Видно, эта мысль его волнует. – Мало ли какой пьяный попадётся, задавит, даже пикнуть не успеете. От машины сразу в сторону надо уходить. Пусть едет. Меня с маленькой Пашей тогда автобус чуть не убил, я её прям с коляской выбросил через поребрик и потом сам перескочил. И сколько таких случаев было. Людей только так давят на дорогах. Вы с этим не шутите, рот не разевайте! Отец растил-растил, а этот колёсами проедется – и нет детишки. Плачь потом, а ничего уже не сделаешь. Не-ет! Надо сразу уходить. Это мой принцип. Отец у вас строгий, но дельный. А бывают

Земляничное утро

отцы-слюнтяи, за ребёнка не дрожат, не берегут, это значит – до беды. А я детям всю жизнь посвятил!

Мы мчимся дальше. И всё внимание на те кусты садов, они всё ближе и ближе... У садов начинаются первые земляничные полянки.

– Пап, – спрашивает Петя, – а Майка примерно через сколько километров?

– Да километра через три... – отвечает папа, стрельнув глазом вдаль.

Это известие придаёт нам силы, мы усерднее жмём на педали, заморожено глядя на кусты, что синеют впереди. Это и есть Майка, там жила моя бабушка. Ничего уже не осталось от этой деревни, кроме садов, заваленных сломанными деревьями и заросших крапивой... Но зато рядом целые гектары земляники. Проезжаем ещё пару подсолнечных полей. И вот она рядом! Такая близкая! И сердце твоё колотится, кажется, уже во рту, так ты рвёшься сюда. И соловьи твоей души поют-заливаются на ветках радости. Вот они, знакомые листочки, из-под них выглядывают красные ягоды. Они повсюду. Куда ни глянь. Даже с дороги они видны, и даже с дороги чутся их аромат!

Земляника – первый плод средней полосы, первые витамины, первое чудо. Ещё ничего не поспело: огурцы только растут, вишня ещё кислая, крыжовник зелёный, смородина зелёная, а вот землянику можно есть!

Но урожаи её не всегда одинаковы. Иной раз приезжаешь, а все поляны пусты, одни листья зеленеют, без ягод, даже самых маленьких. Это значит – не уродилась.

А бывает и так, что ягоду до нас вместе с травой покосили на сено коровам и увезли на тракторе.

Иногда ты приезжаешь, опоздав: ягода была, но отошла, сжалась на солнце, высохла. Надо было раньше ехать.

Однажды мы отправились за земляникой в довольно пасмур-

ную погоду, с утра было хорошо и прохладно, папа радовался, что не замучают овода и мы прокатимся на телеге. К середине пути Руслан устал, пошёл пешочком, а тут ещё дождь хлынул. Вылилось сразу столько воды, что, казалось, на небе плотину провало. Мы вымокли до нитки. Но лучше бы этот дождь не прекращался, потому что земля – как тесто. Когда в него добавляешь воды, оно жидкое, клеится к рукам тонким слоем. Но более густое тесто прилипает уже кусками. После дождя земля впитывает в себя основную влагу, становясь не чёрной похлёбкой луж, а грязным густым месивом, которое затягивает ноги и наматывается на колёса гигантскими пластинами.

Конь остановился. Мы были посередине дороги. Свернуть с грейдера невозможно, он слишком высокий, а сбоку поле и луга, дорог нет. Впереди три километра и позади семь. Значит, надо двигаться вперёд. Папа велел нам слезть с телеги, а сам стал разгонять Руслана и скоро охрип от крика. Потому что жеребец останавливался то и дело, и, пока мы не спихнём ногами и палками грязь с колёс, он не подавался вперёд, а тяжело дышал, расширяя ноздри и отмахиваясь от оводов. А тут ещё и ягоды на Майке не оказалось совсем. Кое-как мы проехали грейдер, свернули на обычную грунтовую дорогу, покрытую травой, а потому не липкую и не грязную. Но и тут ягоды нигде не было. Тогда мы покатали на Крутец таинственной полузаросшей дорогой у склона оврага. Там был широкий луг с великаньей травой. Это место папа называл Крутцом потому, что напротив, через овраг, стояла ржавая водонапорная башня как единственное напоминание о селе Крутец.

Мы кинулись к полянам. Какое разочарование! Вся ягода – осыпная и крупная – пропала. Дело в том, что тот год был особенно сырым. Дожди шли каждый день. Ягоды, покрывшись мохнатой шалью плесени, висели на своих гнилых плодоножках. Мы проделали такой долгий путь ради созревшей ягоды. Вёдра у нас были пусты и чисты, как небо над головой. Оно уже освободилось

Земляничное утро

от туч, и солнце палило нещадно.

– Дожди всю ягоду погноили! – разочарованно произнёс папа.
- Ну что, детишки, поедем назад, как ехали, или тут, напрямик?

Он показал на слегка подзаросшую дорожку. Конечно, мы решили возвращаться по ней. Ведь никто не хотел снова палками счищать с колёс слои земли и подгонять Руслана десять километров.

Вскоре дорога из заросшей перешла в сверхзаросшую и необычайно заросшую. Пять лет назад, когда мы сюда ездили, велосипеды спокойно катились по этой дороге и ничто не намекало на то, что она так одичает. Вскоре мы совсем потеряли ориентиры. Кругом была просто стена из крапивы, лопухов, колючек и молочая. Мы шли, раздвигая для Руслана эти джунгли, топтали стволы растений-гигантов, вымахавших от переизбытка влаги. Нас жгли солнце и крапива, нас жрали овода, но мы всё раскидывали непокорные травы и прорывались вперёд. В этом лесу мы даже не понимали, где находимся, но вскоре выехали на поле. Начались кочки, телегу трясло, колёса то падали вниз, то подпрыгивали вверх. Так продолжалось километров шесть, пока, наконец, впереди не показалась чистая, прокатанная людьми дорога. К тому времени мы исчерпали все свои силы и шли, вяло перебирая измученными ногами, словно у нас на подошвах колёса сдулись. Я надолго запомню ту поездку!

Но сейчас, сейчас земляника есть, вот она! Ничто не мешает её собрать, дождик не льёт, солнце не жжёт, кругом прохлада и воля. И мы бежим искать себе полянки. И всё забыто: долгая дорога, пора ожидания, промозглая осень с простудами и дождями, холодная синяя зима, глядя на замороженные окна которой, ты ждал тёплого лета, забыта голодная весна без сена и соломы, полная страха, что вся скотина погибнет, – всё это забыто. И хорошо, что забыто, ведь если ты будешь держать в голове весь сброд, всю чушь и грязь, что налипает к твоим ногам на жизнен-

ном пути, ты не сможешь идти дальше.

А ты просто собираешь землянику. Ты просто восторгаешься жизнью под пение птиц, под звон лета.

– Рай земной! – говорит папа восхищённо. – У, тут она осыпная! Да сладищяя! Я буду есть, ребята! М-м! Ягодка – люкс! Ценность невозможная!

Папа какое-то время лакомится на одной полянке, а затем уходит вглубь луга.

Мы кидаемся к первым ягодным пучкам, усаживаемся в них и начинаем торопливо рвать. Земляника не одиночный плод, она созревает кистью, в которой сразу несколько ягод растут вместе, как большая дружная семья. Отрываются ягоды с небольшим щелчком, и вот в твоей руке мягкие спелые «земляничинки», как говорит мой младший брат Митя.

Вокруг нас сплошное благоухание, кружат шмели, бабочки, птички. И пока ты собираешь ягоду, рядом пчёлы собирают мёд.

Пёс Пася лёг в тени иван-чая, «отдыхивается», высунув язык. Потом он тянется к ягодам и, аккуратно выбирая их из травы, отрывает и ест.

А розовое солнце тихо поднимается над полями, его свет разливается по земле. И вот уже тепло доходит до моей спины, мягко греет тело.

Мы устраиваем соревнование: кто соберёт больше кружечки ягоды. Отовсюду слышится: «у меня уже кружечка», «а я почти две собрал», «я тоже две». В ведра сыплется первый урожай. Мы впились в свои поляны и опустошаем их ягодное изобилие, но папа не даст спокойно усидеть.

– Дети! – кричит он. – Идите быстрее сюда. Тут земляники море! Я такой ягоды никогда не видел!

Мы бежим с ведрами через искристый луг, сапоги моются в росе, цветы заплетают ноги. И вот мы все располагаемся на папиной поляне. Она и в самом деле хороша: глаза разбегаются. Кругом одна земляника.

Земляничное утро

Но папа не останавливается на достигнутом. Он уходит дальше и скоро снова кричит:

– Дети, всё бросайте, идите сюда! Тут вообще тьма ягоды! Вся осыпная!

– Но тут тоже осыпная... – говорим мы.

– Там потом соберёте, сначала здесь.

Мы переходим к папе. У него ягода ещё крупнее, чем прежде. Её больше, и она очень сладкая.

Папа переходит на следующую поляну и восклицает:

– Вот это земляника! Её срочно надо собрать. Варь, Петь, идите сюда! Пусть они там собирают. Поглядите, чё тут творится! О-ё-ёй! Уйма земляники! – он смеётся. – Как нам повезло сегодня, а, ребят?! А я зашёл сюда, думаю, посмотрю, какая тут земляника. Там в начале вообще дребедень, да? – спрашивает папа, засовывая в рот горсть ягод. – М-м... Аховская ягодка! Свежатинку как добро поесть. Это ж в охоточку, а то вся еда уже надоела. Одно и то же! А это хоть какое-то разнообразие, да?

– Ага!

– Я её ем за милую душу. Это же витамины. Вы почему не кушаете? Вы ешьте! – говорит папа. – Горстку в ведро, горстку в рот. Вскоре папа снова покидает нас и затем кричит:

– Вера, иди сюда! Там всё мелочь! Вот тут ягода настоящая!

Перебегаю на новое место, втыкаюсь и не могу оторваться!

Мы надолго затихаем, довольные своими полянами. Папа ест, время от времени бросая в моё ведро горсти ягод, потом уходит к Пете с Варей, собирает в их посуду, а после говорит:

– Всё! Я наелся вволю! Пойду, посмотрю велосипеды. Отведу их от дороги. А то утащат: тут охотников много.

Пригревает солнце, жужжат пчёлы, ящерицы шуршат, поют жаворонки и соловьи, синее небо над головой.

Наши вёдра наполняются благоухающей земляникой. Через полтора часа они доверху забиты. Солнце уже припекает, голова побаливает, ноги затекли, спина не разгибается, овода кружат

рядом. Но мы рады своему урожаю, дорываем в последнее маленькое ведёрко.

Папа идёт к Паше, которая спокойно сидела со своим ведром чуть в сторонке.

– Паш, ты чё, уже всю поляну оболванила, что ли?! Ну ты даёшь! А я думаю, чего это она там приутихла! А у неё уже ведро полное! Ну что, хорошую я тебе полянку нашёл?

– Да! – отвечает Паша.

– Собираемся домой, ребят? – спрашивает папа.

– Ага!

Идти назад тяжело: под ногами мелькают поляны с осыпной ягодой, её уже складывать некуда, и мы собираем самые аппетитные ягоды в горсть, съедаем и идём дальше... Ах, какая прелесть тут остаётся несобранной...

– Мы сюда ещё приедем! – обещает папа. – Тут вон сколько земляники. Пропасть!

Рядом с земляникой растёт пышный чимбар, по-другому – чабрец. Папа нарывает его в огромную охапку и запихивает в свой рюкзак. А мы рвём иван-чай по маминому распоряжению, засовываем длинные стебли в рюкзаки, и его розовые цветы слегка торчат из вещмешков. У нас все сапоги в прилипших лепестках цветов, а коленки мокрые от раздавленной земляники, но за плечами – свежая ягода.

Мы поднимаемся со своими велосипедами по высокой грейдерной насыпи на дорогу и начинаем обратный путь. Солнце уже высоко, жара сменяет прохладу. За нами в погоню отправляются кровожадные слепни и овода. И только мелькают поля с жёлтыми подсолнухами да колосистой рожью, стелется дорога под колёса велосипедов.

Вот стадо изнурённых коров в пруду стоит, животные спасаются от жары и оводов, что больно грызут их в вымя и низ живота, где кожа понежнее, а значит, её можно прокусить и вдоволь насосаться чистой крови.

Земляничное утро

Тут на пути село Сальники. Папа решает заехать в него, повидаться с нашими дальними родственницами – Шурой и Нюрой. Это две сестры-старушки, у которых никогда не было ни мужей, ни детей. Поэтому их все называют – «девки». Они неразлучно прожили почти век в этом старом деревянном доме. Сейчас они сидят на лавочке у дома, сбоку – две их палки, без которых бабушки не могут ходить. Они очень старые, и жизнь согнула их тела в дугу. Но Шура и Нюра кажутся всегда какими-то счастливыми, как будто они состоят из добрых светлых гномиков.

– Ну как у вас тут дела? – спрашивает папа, спешиваясь с велосипеда.

– Хорошо, Юра, хорошо!

Они встречают нас радостно, говорят, что все мы красивые и так выросли! Они каждый раз спрашивают, как нас зовут, потому что нас много и все мы похожи.

Папа предлагает Шуре с Нюрой земляники, но они наотрез отказываются.

– Ты что?! Ты что?! Вези детям, Юра! У тебя семья такая большая! А у нас всё есть! Всё есть! Оставь ребятишкам.

– Ну, смотрите! – говорит папа. – Как у тя, Нюрк, со здоровьем? Ты, говорят, зимой сильно болела...

– Да ничего, Юра, всё хорошо. Мы как живём: день прошёл и – слава Богу.

– Да! – говорит Шура. – Нам чё, Юр, много надо? День прошёл и – слава Богу!

Когда мы собираемся уходить, они выносят нам «гостинцы»: конфеты, печенье, оладушки – это всё, чем они богаты. Мы стесняемся брать у них последнее, но они обидятся, если мы откажемся. Поэтому запихиваем это в рюкзаки и двигаемся домой.

И вот дорога к нашей речке Карай, сама река где-то в низине, а там, на горе, стоит Моршань, уже почти пустое село, из него только церковь возвышается к небу голубыми куполами, и где-то у обрыва над рекой тоненькая угадывается фигура мамы, кото-

рая ждёт нас, вглядываясь в даль.

Это было далеко-далеко: за сиреневым туманом, за синим озером, за широким полем...

НА ДАЧЕ

София Малахова



А как начать, надо что-то сказать? Вопрос странный, все равно что спросить: как ты думаешь? Головой, конечно же, как вижу я глазами, а слышу – ушами. Или как я кушаю? Ртом. Я кушаю ртом булочку, пока электричка едет между двумя отвесными склонами гор. Смотрю, как огромные камни выступают из земли и на них ютятся тоненькие сосны и березки. А электричка, электричка же не едет, она стучит в голове и даже в ногах ритмично, как старые ходики, или метроном, или сердце. И она едет все вперед, к далеким дачам, к началу лета. И в начале надо сказать что-то. Но что? Жили-были? Когда-то? Тем летом? Бабочки?..

Бабочки прилипли к влажной земле. Белые, голубые, нежные. В черную тонкую полоску. Вот ты знаешь, почему они зовутся капустницами? Они ведь совсем не похожи на капусту. Хотя да, бабушка же рассказывала, мы тогда шли от станции, нагруженные ненужными сумками с одеждой, сосланной на дачу. Все мы, пассажиры зеленой электрички, шли вереницей вдоль размякшей проселочной дороги, и всякая наша обувь: и резиновые сапоги, и красные босоножки, и новенькие кеды, и советские галоши, и пластиковые шлепанцы – тонули в черной жиже земли. А дорога все шла и шла, и до поселка было далеко, и рядом с каждой лужей были бабочки. Те же бабочки, что сбивались в тесную стаю и попадались нам на всяком пути лета. Бабушка сказала, что они капустницы, и зреют они в капусте, и съедают капусту, в которой росли личинками. И вместо того чтобы убивать наглых вредителей, люди беспокоились, что этих небесных красавиц могут раздавить. Вереница шла и жужжала о плохих дорогах, радовалась бабочкам, а еще каждый просил про себя у неба, чтобы машины не ездили по дорогам, чтобы бабочки успели улететь, чтобы никто не умер.

У-мер, мер-у, мер-а... Что есть мера лета, когда день идет за днем, когда в одном дне целая жизнь и когда за неделю не происходит ничего. Когда каждому достается по горсти ягод, отмеренных дедушкиной ладонью с узловатыми пальцами, под ног-

На даче

ти которых забила земля после посадки лука. А ты со своим двоюродным братом или сестрой собрал уже по ведру калины, крыжовника, облепихи и малины. И горсти ягод не так интересны, как пенка, которую ждут все, пока дед помешивает будущее варенье деревянной ложкой, а в кастрюльке все медленно закипает от жара маленькой плиточки, которую бабушка привезла на дачу со своей кафедры химии. Дед зачем-то раскладывает пенку по кусочкам хлеба, и все мы в своём детском восторге пытаемся отделить хлеб от тягучей карамели со вкусом лета. А дед посмеивается над нами и отправляет гулять, чтобы не мешали ему в тёмном бревенчатом доме под светом одной лампы варить наше лето. И погулять не на час, как в городе, тут люди не следят за часами, гулять можно, пока тебя три раза не позвали поесть откуда-то снизу, из почти одинаковых домов. А ты сидишь на склоне и греешь щеки, потому что искать цветы уже лень, пусть и сами мигают солнечными зайчиками между травами жёлтые лилии.

Желтые Лилии, Лилия желтая, Лилия Желтова. Она была самой маленькой, хотя и старшей, ей было почти восемь лет. Щуплое ее тельце отказывалось загорать под палящим солнцем, хотя волосы быстро побелели, и вся она, чтобы ее, маленькую, не раздавили, как придорожный цветок, постоянно кричала и звонко смеялась. Под её ответственность отпускали гулять на пруды за железной дорогой почти всех ребят. Взрослые доверяли цифрам, а не физическим возможностям. Лиля все ещё не умела плавать и ничем бы не смогла помочь, если бы ребята полезли в воду. А мы и лезли, но не в те глубокие кратеры, где на дне глубокая лужа из оставшейся с прошлой недели дождевой воды, так и не испарившейся из-за сирени, которая укрыла это маленькое озерцо своей листвой. Оттого бабочки, которые облепили берега этой лужи, иногда не могли вылететь из этих тёмных комнат. И, проходя мимо, мы смотрели и думали, как же помочь бабочкам, чьи крылья увлажнились и размякли, и бывшие летуны только и могут что лежать вокруг тёмного озерца, отражающего листву,

белым ковриком. Каждый из нас представлял, как можно осторожно спуститься в кратер, уходящий почти на два метра вниз, и осторожно поднимать бабочек вверх, по одной, или пригоршней, чтобы они обсохли и поели пыльцы на солнышке. Но мы боялись соскользнуть и провалиться, раздавив своими телами живой ковёр.

По тропинке мимо сиреней мы шли к большим озерам, чтобы гулять вдоль них, мочить по колено ноги, кидать блинчики и просто быть дальше от всех, в своём мире, недоступном взрослым. Где можно разжигать костры и метать кухонный ножик тети Маши, который идеально сбалансирован. Прямо как у военных в фильмах, все по очереди проверяли, чтобы лезвие, лёжа на пальце, было равно весу ручки, это важно для ножа. Лиля часто недовольна: мальчишки, даже шестилетние, почти не дают ей нож. Ведь она девочка и как-то поранилась этим самым ножом, когда пыталась попасть в цель, нарисованную на земле, но никуда не попала и поцарапала ладонь. И когда обида в ней начинала заполнять её краснотой от щёк до самого лба, она садилась на гальку и громко рыдала. Рёв её раскатывался от низин и до самых макушек елей, росших на самом краю косогора. И ей давали нож и ждали, пока ей не надоест играть одной, и так почти каждый день, если мы, конечно, не встречали Павлика с его побитым велосипедом и простой собакой на поводке.

Велосипед был побит воротами и камнями, лавками в электричке, и бабушкинскими тележками, и даже одним автомобилем. Велосипед, тем не менее, не только не унывал от своей велосипедной жизни, но еще и блистал на солнце железными боками. Мы видели его блеск, подходя к станции, бегом поднимались по доскам лестницы, и каждая ступень прогибалась под нами своим несчастным, почти гнилым деревянным телом. А на асфальтированной платформе уже блестел улыбкой Павлик, который успел побить местных мальчишек. Ты ведь помнишь, как они клали монетки на рельсы, чтобы посмотреть, что будет. И мы стояли,

На даче

почти не дыша, и ждали, когда придёт электричка, боялись, что она подпрыгнет и упадёт на платформу станции, и платформа вся прогнется, и покорёжится, и провалится, и мы вместе с ней. И ничего от нас не останется, и платформа прорастет в электричку одуванчиками, в которой тоже никого не останется, и жёлтые одуванчики станут белыми и улетят, и все заржавеет и покроется снегом. Или будет хуже – и поезд подпрыгнет в небо и улетит, и мы никогда не уедем домой.

И Лиля, собравшая по дороге букет из желтых лилий, злилась на Павлика. Обижалась, пыталась реветь, щипать нас или клянчить что-то. А ещё она как-то ушла. Мы все: и ты, и я, и ребята – повернулись, а от Лили остался букет лилий, и бедные лилии были втопты в асфальт. И приближалась электричка, и на станции никого, кроме нас, потому что днём никто не уезжает, тем более летом, тем более во вторник. А Лили не было, и мы побежали к прудам, а Павлик поехал в посёлок. Как думаешь, может он и вовсе не хотел её искать и просто поехал к бабушке? Думаю я головой, но, может, Павлик был прав, его простая собака не умела искать людей, а взрослые умели. А мы бежали к каждой яме и вглядывались, вдруг бабочки на дне – это Лиля в своём белом ситцевом платье. Вдруг она поскользнулась и скатилась вниз

Заглянуть в каждый кратер, в каждую яму, под каждый куст, найти белые грибы и чувствовать тепло в ушах, когда в тени, глубоко на дне, видишь что-то белое. Вглядываться, цепляться за ветки, царапая ладони, и выдыхать под глухие и раскатыстые удары в висках, что это бабочки. И бабочек уже не спасти, а Лили все нет, и мы хотим есть, но страшно идти к тете Маше с ножом и говорить, что не знаем, где Лиля. А ещё страшно прийти и увидеть, что Лиля давно сидит на кухне тети Маши и ждёт нас, чтобы наябедничать взрослым, что мы ходили на пруды без неё. Но страшнее совсем не найти.

Темнело, мы уже перебоались, страх перекипел в нас, как малиновое варенье. С тяжелыми ногами, холодным животом и ска-

чушим сердцем мы дошли до станции, прошли мимо мальчишек, которые опять клали монетки на рельсы, спустились со ступеней на влажную дорогу с рытвинами от машин и велосипедов и весь путь по какой-то новой привычке дёргались от каждого белого пятна – скопления бабочек. Мы дошли до калитки моего дома, зашли на участок и пошли к дому тети Маши, который стоял в противоположном углу от моего дома с дедушкой и вареньем. У дома тети Маши мы собирались с силами, чтобы вернуть нож, и вместе, как, наверное, и летают бабочки, подошли к двери её дома и долго звонили в дверь, но никто не открыл нам, и пришлось идти по домам.

Дедушка уже растревлял в погребе банки, а на круглом столе, под светом масляной лампы, стояла моя тарелка перловки с передавленным с сахаром щавелем. Дедушка сказал, что тётя Маша уехала с Лилей в город по работе и теперь отпускать меня на пруды можно только с Павликом.

В тишине, под скрёб алюминиевой ложки о фарфоровую тарелку гудела вдали электричка. К лампе подлетела капустница.

ТАНЦУЙ, РИСУЙ

Эмилия Галаган



Мы уже победили, просто это еще не так заметно.

БГ

Есть такие звонки, которые ты всегда отличаешь от других, даже если у тебя на все про все стоит одна и та же мелодия из «Деревни дураков» (а что еще ставить, когда вокруг они, родимые?) Вот правда, от таких телефон вибрирует как-то особенно настойчиво, как будто кричит: «Ну возьми трубку, ну давай же!» И ты всегда знаешь, кто это звонит. Еще не взглянув на экран, понимаешь, что так в твои двери может ломиться только один человек.

– Здорово, Яныч!

– Ой, ну слава богу! Как хорошо, что ты сняла трубку, а то я уже не знала, что делать... Татусечка, приезжай ко мне, пожалуйста, ты мне прямо очень-очень нужна...

– Слушай, ну я как бы не могу, я тут это...

– Татусечка, вот правда, без тебя никак, нужна твоя помощь как специалиста...

Опять. Янка почему-то вбила себе в голову, что если у меня диплом пединститута, значит я – педагог. А еще детский психолог. Как – это не одно и то же?! Да не может быть! Я триста раз объясняла ей, что в моем родном городе три вуза: политех, мед и пед. И если ты падаешь в обморок от вида крови и считаешь, что логарифмы – это вид стихов, то тебе только одна дорога – в пед. И что учат в этом вузе отличать тему от идеи, писать планы-конспекты уроков и ненавидеть школу еще сильнее, чем школьники. Я объясняла это Янке раз за разом, но она же не умеет слушать! Ей, окончившей заборостроительный техникум, люди с высшим образованием кажутся причастными к высшей мудрости. Кем-то покруче ожившего гугла.

– Яна, тебе нужна консультация человека, который пишет статьи для сайтов по продаже бытовой техники?

– Татусь, ну не смешно, ну помоги, у меня с мелкой проблема...

– Ян, я не специалист, ну сколько тебе говорить!

Танцуй, рисуй

– Татусь, ну ты же всегда мне помогаешь!.. Я понимаю, что тебе некогда, что мы живем далеко и все такое, ну я же не знаю, к кому еще обратиться, послушай, ну пожалуйста... – Янка умела просить с напором Паганини, играющего на единственной нелопнувшей струне – так, что вынимала из слушателя душу. – Татусь, ну она же тебе доверяет, она тебя уважает, ты же не чужой человек – ее крестная...

– Она некрещеная, – меня уже сломили, но я все еще пытаюсь сохранить независимый вид. – Ладно, давай я завтра после работы заеду.

– Татусь, спасибо тебе огромное! Я тебя обожаю! Мне так с тобой повезло! Прямо сама себе завидую!

Янка и правда считала себя везучей.

Во-первых, из-за Лизки. «Я ж залетела по пьяной лавочке от одного нашего, из общаг, могло ж что угодно родиться, а смотри, какая девчонка получилась! – восторгалась она. – Рисует, пишет, танцует в ансамбле, даже на карате ходит, мальчишек так лупцует, что аж сердце радуется!» (Я по своему горькому опыту знала, что творческие детишки радуют родителей только в детстве, а чем старше становятся – тем больше приносят разочарований, но из осторожности молчала, не ломала Янке кайф).

Во-вторых, Янке повезло получить в наследство от дальней родственницы квартиру в пригороде. Да, квартирка – спичечный коробок, зато они с дочкой жили отдельно от Янкиной мамы, с которой строптивая дочь постоянно ссорилась.

А потом Янка встретила Леню, застенчивого преподавателя электротехники, который жил в общежитии университета. С ним у Янки случилась любовь, они съехались и несколько лет жили душа в душу. Правда, Леню Янка не так давно выгнала... Но тут ей тоже по-своему повезло: бывший сожитель ушел тихо и даже купленную на свои деньги бытовую технику обратно не потребовал.

– Татусь, только ты подумай вообще, что ей сказать, ты знаешь,

дело серьезное, она совсем задепрессовала у меня... Из их ансамбля девочка под машину попала... Жизнь спасли, но останется теперь инвалидом... А Лизка это прямо так близко к сердцу приняла. Говорит: «Она никогда больше с нами танцевать не будет... Пусть бы лучше я не танцевала... Я рисовать могу. Лепить могу. А она только танцевала с нами».

– Она переживает. Это нормально. А помнишь, ты думала, что у тебя дочка-маньячка растет?..

Как-то раз (еще до появления у них в семье Лени) Янка позволила мне по такому вопросу:

– Тат, слушай, мы тут гуляли по улице, на дороге дохлая ворона лежала... А Лизка пнула ее ботинкой и смеется... Тат, мне так страшно сделалось...

– Чего?

– Тат, а чего она... Может, с ней не так чего? может, она маньячка какая? Может, она потом того... Зверей мучить начнет... Или людей?

– Ей три года. Она не понимает еще про смерть и всякое такое...

– А я вот смотрела один сериал американский, так там...

– Меньше смотри телек.

– Тат, там про маньяка рассказывали, что он, когда был маленький, кошек поджигал...

Яна из тех людей, для которых создали телевидение, газеты и прочий шлак. Она свято верит тому, что показывают и рассказывают. И всякий раз приходится ее переубеждать и перевоспитывать:

– Яна, твоя дочь – не маньячка. Она маленькая. Дай ты человеку пожить в мире, не осознавая, какой он говенный. Всему свое время.

Ну вот, Лизкино время пришло. Что ж, завтра еду к Янке...

А сегодня надо перечитать стихи, чтобы выбрать лучшие для публикации в группе. И подобрать картинки. Вчера я сцепилась в

Танцуй, рисуй

сети с одной старорежимной сукой, которая мне доказывала, что у меня стихи слишком грубые. Вот мразь-то! Ходят такие, с розой в жопе, и цедают сквозь зубы, как надо писать.

Вот это, я считаю, получилось крутым:

Почему рыбы не разговаривают

Раньше рыбы могли говорить.

Когда Ева приходила к реке за водой,

То всегда застревала там на час,

Перетирая с рыбами то да се.

Но однажды она обратила внимание

На свое отражение в воде

И залюбовалась.

– Какая я красотка! – думала Ева. –

Поразительно! Просто мисс мира!

– Здорово, как дела?! – орали рыбы. –

Че там у Адама?

Но Ева просто смотрела на себя и молчала.

– Да пошла ты в жопу, невежа! – сказали рыбы

И с той поры больше не разговаривают.

Пока ехала в маршрутке – черт бы подрал эти маршрутки, где сидения в конце стоят друг напротив друга, – несколько раз падала башкой вперед, тараня в живот сидящую напротив тетку, и думала про Лизку. Девчонка-то нормальная, не тупая. Может, избалованная немного, но сейчас все дети не такие, как мы, глупо требовать от человека, который не знает, что такое голод, трястись над куском хлеба. А заставлять голодать специально, чтоб понял, – жестоко, да и нахрен надо. Пиздец настанет, и в голове все на место встанет. А что он настанет – это к бабке не ходи... Но что ж делать с Лизкой? Маршрутку швыряет из стороны в сторону, мысли куда-то соскальзывают, как мыло с бортика ванной...

В прошлый раз мне мелкую удалось успокоить. Взбрыкнула Лизка после Нового года: она просила Дедушку Мороза планшет, а он подарил ей какой-то дурацкий свитер. Лизка превратилась в маленькую фурию.

– Татусь, – кричала Янка в трубку, – приедь и сделай с ней что-нибудь, я умоляю! А не то по этой тощей жопе пройдетя ремень!

Я сомневалась, что у Янки поднимется рука на дочку. Саму-то ее мама только ремнем и воспитала, в результате в тринадцать лет Янка уже бегала курить за гаражи, потом начала там же пить пиво с гопниками и тогда же лишилась невинности (полагаю, тоже за гаражами). Лизке она такой судьбы не хотела, потому не била, а старалась воспитывать – бестолково, но старательно.

Свитер и правда был дурацкий. Янка могла и что получше найти, а не эту зеленую хрень с розовыми уточками. Немудрено, что Лизка взбесилась. Игрушки и книжки по комнате расшвыряла, забилась на кресло с ногами, любимого медведя к себе прижала. Белобрысый хвостик набок сбился, глазенки сверкают.

Я, решив, что дитяtko – существо глупое и сердобольное, завела шарманку про одноногую собачку:

– Дедушка Мороз, – говорю, – старенький уже, видит плохо, вот адреса и перепутал... Одна очень бедная девочка просила у него свитер, потому что мерзнет... А ты просила планшет... Так вот и получилось, что планшет он отправил той девочке, а тебе – ее свитер... А теперь мы не можем все переиграть... Не можем отнять у девочки подарок...

Лизка посмотрела на меня исподлобья. Мне показалось, она сейчас меня разорвет.

– Но Дедушка поручил твоей крестной фее уладить эту ситуацию... Так что при возможности она передаст тебе другой планшет...

– Моей крестной фее? А это вообще кто?

– Ну как кто? Ясное дело – я.

Танцуй, рисуй

– Ты? Ты лысая. Разве бывают лысые феи?

Что эта малявка себе позволяет? Но на такие случаи всегда есть контраргумент, проверенный веками:

– Откуда ты знаешь, как выглядят феи? Ты как будто хоть одну фею в жизни видела!

– Конечно, не видела! – Лизка аж подскочила в кресле. – Потому что в жизни нет фей! Они же только в мультиках!

– А Дед Мороз типа в жизни есть, да?! – не выдержала я. – И как тебе, восьмилетней, можно сказать, почти взрослой девице, не стыдно делать вид, что ты веришь во всякую фигню?

Лизка уткнулась носом в медведя и зарыдала.

– Я хочу планше-е-ет...

– Ну не реви, не реви... Я хоть и не фея, но так и быть, если будешь себя нормально вести, а не бычить из-за всякой ерунды, на днюху, может, и получишь планшет... Может. Получишь.

– Эта дебилная идея с Дедом Морозом испортила настроение куче народу, – втирала я потом Янке. – Система, устроенная по принципу: проси, что хочешь, но я дам тебе то, что сам считаю нужным, – это издевательство над человеком. Смысл тогда просить? Я поэтому и от религии отошла...

– Татка, ты герой! А у них в классе всем сказали: пишите письмо Дедушке Морозу, просите, что хотите... Я и не подумала...

– Планшет можно сейчас недорого взять, раз уж вышла такая фигня. Я ж типа пообещала уже.

– Да она забудет!.. У нее же день рождения в июле!

– Не-ет, она не забудет, – я покачала головой. – И не надейся. Да пофиг. Я куплю, пусть порадуется. Мне когда-то родители тамагочи не подарили. Так я потом с первой стипендии его себе купила. Была одна такая дура на потоке – с тамагочи, который на парах пищал... А когда он сдох, я натурально ревела, как дебилка! Лучше бы в детстве отмучилась...

Лизка, по-прежнему прижимая к себе медведя, заглянула на кухню, где сидели мы с Янкой:

– Тата... А если и правда есть девочка, которая мерзнет и будет рада этому свитеру... – в ее голосе, как камешек в ботинке, покалывало сомнение, – можно его ей отдать? Просто так...

И вот тут я заржала как конь и поняла: эта мелкая зараза – вот прямо я.

А Янка, звеня тарелками, бухтела, что свитер хороший, продавщица на рынке сказала, что раскупаются они влет, но если Лизка так хочет, то можно его отправить в детский дом.

Планшет я купила. За что получила звание крестной феи, лысой феи. Хотя я не лысая, а просто очень коротко стригусь, но что с мелкой возьмешь?

По правде говоря, я думала, что Лизка стала вредничать потому, что Янка накануне Нового года выгнала Леню, с которым они прожили лет пять, что ли. Янка приревновала его к какой-то аспирантке и выставила за дверь со словами:

– Мама была права: тебе только квартира моя и нужна!

Леня, очень полный, неуклюжий, нелепый, вернулся в свою комнату в общежитии, хоть я и уговаривала Янку простить его.

– Ян, в самом деле, ну он же тебя всегда любил!

– Разлюбил, значит!

– Ян, Лизке нужен отец!

– Какой еще, нахрен, отец! Она ж не от него! И даже папой его не звала!

– Яна, ну она ж привязалась уже к нему!

– Отвяжется.

Я только пожимала плечами. У Лизки был мобильник и немножечко мозгов – и я была уверена, что с Леной она созванивается. Он всегда интересовался ее уроками, занятиями в кружках и успехами в колочении мальчишек на каратэ.

Я вспомнила, как Янка впервые притащила Леню к себе домой. Лизке было года четыре. Мы, взрослые, сидели на кухне за столом и живо обсуждали какие-то маловажные темы вроде политики. И тут зашла Лизка, волоча за лапу одного из своих мед-

Танцуй, рисуй

ведей. На медведя она надела свое платье, которое было ему велико и смешно болталось.

– Завяжи! – она обратилась к Лене.

Тот сразу понял, о чем она: взял медведя в руки и принялся завязывать поясок от платья. Старался, неловкими пальцами со второй попытки затянул бантик. Неуверенно спросил:

– Сойдет?

Лизка несколько секунд придирчиво осматривала результат, а потом с превеликой важностью кивнула.

Потом Янка долго донимала меня вопросами:

– Лизка меня спросила, будет ли Леня жить с нами. Я говорю: ну, наверное, будет. А она мне: он большой, как дом. И смеется. Это к чему?

– Думаю, он ей понравился. С домом нельзя сравнить что-то плохое, – философски заметила я.

Был дом, да и сплыл. Так-то.

Что мне сказать девочке, которая впервые поняла, что танцевать можно перестать навсегда? И в то же время – можно не прекращать никогда?

Тайка была черноволосая, смуглая, с сосредоточенным, каким-то тeneвым выражением лица. Но стоило ей рассмеяться – и вспыхивала красота. Как вырвавшаяся из окна занавеска, развевающаяся на фоне неба, – просто занавеска, просто небо, а сердце ликует!

Тайку я любила и никогда не перестану любить, как все те, кто видел, как она смеется...

Я знала ее с детства – так вышло, что ее мама, тетя Света, приходилась нам какой-то дальней родственницей, точно не скажу, какой. Тетя Света приезжала к нашей бабушке в деревню – пить молоко и фотографировать. Тетя Света – безумный энтузиаст фотографии. Тогда, в начале 90-х, у нее был пленочный фото-

аппарат, черно-белый, она не признавала цветного. Она творила искусство. Снимала купающихся в пыли куриц, жующих свои тяжкие думы коров, чертоподобных коз, вечно брюзжащих индюков и всю прущую из земли зелень – неважно, как высоко от этой самой земли зелени удавалось подняться.

А еще тетя Света передвигалась на инвалидной коляске или костылях, в зависимости от того, где как было удобнее.

– У мамы был полиомиелит, и она могла остаться совсем неподвижной, но ей повезло, а то бы, конечно, не было бы меня, – говорила мне серьезная Тайка. – Мама у меня такая ма-ама...

И это действительно была такая ма-ама... Она не переставала удивлять. Никогда.

– Мама считает, что ей можно все, она меня родила потому, что кто-то ей сказал, мол, калеке не стоит иметь детей! А она нашла себе мужчину – и меня родила! И теперь командует мной, как хочет! – Тайка иногда так полушутливо ныла. – Мужчиной, конечно, так не покомандуешь!

Моя бабушка держала свиней. От свиного сарая к навозной куче тянулась канавка, через которую была перекинута доска. Обычно мы старались быстро проскочить это место, потому что вонь там просто сшибала с ног. Но однажды, во время очередного забега из сада во двор, мы не захотели бежать друг за дружкой – и ломанулись на доску вдвоем. А-а-ах! И Тайка полетела в вонючую навозную жижу.

– Ха-ха-ха! – Я не могла удержаться от смеха – и тут же шлепнулась в грязь с противоположной стороны.

– Ха-ха-ха! – теперь уже зашлась смехом Тайка. Ее перепачканное лицо все равно осветилось так, как будто на грязь плеснули золотом.

Я с притворной злостью зачерпнула ладонью грязи и швырнула в нее:

– Получи!

– И ты получи!

Танцуй, рисуй

Вонь, бесившая нас в первый миг, словно сама собой унялась. Универсальный закон мироздания: когда ты по-настоящему влип в дерьмо, тебе уже не воняет. Мы подняли в свиной канаве такой радостный визг, с каким порой скакали под дождем.

– Ха-ха-ха, мы – свиньи! – орали мы. – Мы – свиньи!

– Девочки! Ну девочки! – Тетя Света торопливо, но старательно преодолевала на своей инвалидной коляске порожек дома. – Что же вы наделали? Я же без фотоаппарата! Подождите! Не вылезайте оттуда!

А мы и не думали.

Тетя Света, провозившись в какое-то время в доме, выбралась наконец-то наружу и устроила нам фотосессию. Перепачканные в навозной жиже, вонючие и безумно счастливые, мы смотрим с этих фотографий – я, бледная дрища с ногами-руками спичками, и смуглая Тайка, освещающая фото своей улыбкой.

Потом, правда, оказалось, что она подхватила какого-то свиного паразита и ей пришлось две недели пролежать в больнице.

Когда я уже жила в Питере, Тая позвонила мне и обрадовала: они с мамой приезжают. Тете Свете полагался какой-то курс лечения в здешней больнице, а Тая ехала как сопровождающая.

Больше всего тетю Свету беспокоил вопрос о том, как посмотреть и пофотографировать в Питере как можно больше всего. Она уже была в предвкушении.

– Мама аж поет! – сказала мне Тая. – Предчувствую: нам с тобой придется нелегко. Это же ма-ама...

И верно, тетя Света выжала из нас все соки.

Она заранее обзвонила все самые лучшие театры и музеи, требуя, именно требуя бесплатного прохода для себя и сопровождающего, то есть Тайки. Она выходила на директоров музеев и знаменитостей из телевизора. Она знала свои права.

Едва я зашла в ее палату, как на меня обрушилась лавина эмоций:

– Татьяна! Пришла, пришла, моя девочка! Какая стала ори-

гиналка, как постриглась стильно! Тебе идет, вроде бы почти мальчишкой выглядишь, но хрупко! – Тетя Света сама любила что покрепче и, было дело, даже красилась в синий. – Вот, смотри, с чем приходится бороться!

Она подняла простыню на кровати.

– Пощупай.

Матрас был обтянут глянцевитой синтетической тканью.

– И такие матрасы эти люди кладут на кровати – здесь! В больнице, где у каждого второго проблемы с опорно-двигательным аппаратом! Где лежат люди, у которых ампутированы конечности! Ты когда-нибудь падала с кровати ночью? А представь, како-во упасть тому, кому не так-то легко подняться! Я уже написала жалобы везде – вплоть до министерства здравоохранения!

Тусклая, жалкая больница, невыносимо советская по своему виду, содрогалась от поступи тети Светы, которая вообще-то не могла ходить.

Она требовала и требовала. А мы с Таей послушно бегали распечатывать жалобы и отправлять письма во все инстанции.

Но и отдых у нас был. В выходные мы поехали за город, в Петергоф и Александрию.

Голая весна. Парк, за исключением тех дорожек, что заасфальтированы, раскис и превратился в грязевое болото. Бело-золотые дворцы и церкви, казалось, стояли на цыпочках, как балерины, во всей этой грязи и изо всех сил тянулись вверх.

Мы обошли все, что могли, но тетя Света не унималась.

– Давайте еще по этой дорожке проедем, интересно, куда она идет?

– Мам, уже вечереет, скоро тут все закроют...

Тайка толкала коляску тети Светы, я рядом несла костыли (в маленьких музейчиках типа «Коттеджа» тете Свете было неудобно передвигаться на коляске, на костылях ей нравилось больше).

– О! Поразительно!

Тетя Света заметила чуть в стороне от тропинки довольно

Танцуй, рисуй

мощное, раскидистое дерево. Одна его ветвь изгибалась почти под прямым углом, образуя что-то вроде длинной скамейки – только висящей в воздухе.

– Тая! Ну что за чудо! Посмотри! Оно же... Дерево прямо создано для... Златая цепь и все такое... Русалка на ветвях... Слушай, давай-ка ты туда залезешь, а я тебя сфотографирую...

– Ну, мама... Дерево же без листьев, ну какая на нем русалка?

– Нормальная! Молодая да ранняя! Тая, ну пожалуйста!

– Там высоко...

– Ну, Тая... Давай Татьяна тебя подсадит... Ну или подпихнет как-нибудь...

– Да как, мам?! – Тая беспомощно повисла, уцепившись руками за ветку. – Я не могу...

– Ты костыль, костыль возьми... Он прочный... Стань на перекладину ногой!

– Mam, это же не ходуля...

– Танюш, ну давай, толкай ее под попу, ну! Девочки, давайте, раз-два-три!

Кое-как, подпихиваемая костылем в зад, Тайка вскарабкалась на ветку.

– Та-ак, а теперь изобрази русалку... Куртку-тоними, где ты видела русалок в куртке! Во-о-от! Вот. Слушай, блузку расстегни! Да-да!

– Mam, ну ты что! Я без лифчика!

– Отлично!!! Настоящая русалка!

– Мама!!!

– Не бойся, никого тут нет! Татьяна караулит! Пусть грудь будет чуть-чуть видна... чуть-чуть...

– Мама, мне холодно!

– Тая, ну улыбайся!

– Ма-ама!

– Таис! Возьми себя в руки! Улыбнись – и я сделаю лучший кадр в твоей жизни!

Тая встряхнула головой – длинные черные волосы взметнулись на фоне закатного неба. Она улыбнулась – и эта улыбка стала первой вспыхнувшей в тот вечер звездой.

Когда тетя Света вволю нафотографировалась, мы пили чай из термоса и смеялись, обсуждая, какие недовольные мины Тая корчила на дереве.

А потом обнаружили, что заблудились.

Темнело. Других людей в парке не наблюдалось. Мы слонялись по дорожкам, но всякий раз натыкались на запертые калитки, пока не увидели наконец-то одну открытую. Правда, асфальтированной дорожки к ней не вело, только раскисшая от грязи тропинка. И мы с Таей, не сговариваясь, развернули на нее коляску тети Светы.

– Танки грязи не боятся! – аргументировала наш демарш я.

Мы прокатились пару метров и встряли. Коляска не хотела выезжать из грязи.

– А ну поднажмем! Впере-е-ерд! – орала я, изо всех сил толкая коляску.

– Ур-р-ра! – вторила мне Тайка. – Впер-ред! Мы – свиньи!

– Девочки, ну девочки! – переживала тетя Света. – Аккуратнее, вы ломаете коляску! Это ведь хорошая коляска, танцевальная, мне ее одолжили...

Но мы с Тайкой орали как безумные, костылями толкали завязшие в грязи колеса, пропихивали коляску все вперед и вперед, пока наконец не выбрались к калитке.

В тот день мы славно потанцевали.

Смеясь, крича, перебивая друг друга, мы толкали коляску к автобусной остановке, полные и пустые, как дом с разбитыми окнами, в котором поселился весь мир.

На остановке меня встретила Янка.

Она была простая и яркая, как яичница. «Химия» у нее на голове раздувалась облаком, ветер трепал концы павлопосадского

Танцуй, рисуй

платка, который она набросила на плечи на манер шали. На ногах посверкивали множеством заклепок модно-рыночные сапоги.

– Привет! Пошли скорее, замерзнешь ведь, тифозница!

Присмотревшись к лицу подруги, я присвистнула:

– Яныч, а что это у тебя глаз подбит?

Она схватила меня под руку и потащила за собой.

– Фигня... Тат, все серьезно, просто ужасно серьезно! Я сырников нажарила, а она их не ест! Сырников, Тат! Она же их всегда со сковородки горячими хватала. Дежурила прямо с вилкой... Обжигалась и ела... А тут... Тат, а вдруг у нее депрессия?

– Не думаю. С тобой-то что?

– Да неважно... Ленька.

– Вы подрались с Леней? – я не могла представить, чтоб интеллектуальный флегматик Леня поднял руку на Янку. – Да как?

– Нет, ну ты чего! Я просто у работы его караулила... За кустами... Ну, я посмотреть хотела на эту его... Ну, он ее до остановки провожал, а я кралась за кустами... А потом неудачно дернулась, хотела посмотреть, поцелует он ее на прощание или нет... Ну мне веткой в глаз попало...

– Ну и поцеловал? – как можно язвительнее спросила я.

– Нет, только шарфик на ней поправил. Он же робкий, скотина.

– Ян, ты бы помирилась с ним, пока не поздно...

– Пусть приходит и просит прощения.

– Так это ж ты его выгнала!

– Нет, пусть он приходит и просит. Он мужчина. Он должен. Да ну его в самом деле... Она меня ночью разбудила и плачет... Мама, говорит, я не хочу планшета, не хочу медведей, ничего не хочу, пусть бы только Даша опять с нами танцевала... У нее в шкафчике носочек один так и лежит... Носочек, говорит, лежит, и ревет белугой... Вся красная... Тат, ну что мне делать было? Что говорить? Я дура, я слов не знаю никаких...

Меся весеннюю грязюку, мы добрались до Янкиного дома. С порога она бросилась на кухню.

– Вот! Видишь! Сырники не тронуты! – Она чуть не плакала. – Что делать, а?

Я молча сложила остывшие сырники в миску и пошла в комнату. Дойдя до границы ковра, расшнуровала и сняла ботинки и дальше пошла уже в носках.

Лизка лежала на ковре и смотрела сквозь меня. Я села на пол по-турецки, поставила миску с сырниками напротив себя и стала есть.

Если честно, у меня не было никакого плана. Я не знала, что и как можно сказать Лизке. Что она поймет, а что сочтет издевательством.

Потому что для максималиста (а дети чаще всего максималисты, по крайней мере, эта девочка точно) правда жизни всегда звучит как издевательство.

Я поглощала сырники один за другим.

– М-м-м... Вкуснятина!

Лизка посмотрела на меня прямо-таки с осуждением и зажмурилась.

Сырники закончились.

Нда. Я подошла к столу Лизки. На нем громоздились альбомы, листы с рисунками, кисти, краски, россыпи карандашей.

– Я посмотрю?

Она сделала вид, что не слышит.

Я принялась просматривать альбомы.

– О, это твой фанфик к «Один дома»!

На Новый год Лизка впервые увидела этот хит всех времен и народов и так впечатлилась, что стала рисовать комикс на тему приключений Кевина и его друзей. Она рисовала на обрывках листов, которые затем заботливо вкладывала в альбом для фотографий.

– Здорово, слушай!

Я посмотрела на картинку, где был изображен большеголовый пацан с огромными глазами, внутри которых как бы застыли

Танцуй, рисуй

большие капли (слезы?)

А круто малая рисует! И тут в мое сознание, как нетерпеливый пешеход, рванувший на красный свет, пока все остальные аккумуляторным рядочком ждут зеленого, вбежала одна лихая мысль.

Я принялась читать вслух:

– «Кевян залес в домик на дереве. Там было плохое электричество. Поэтому телек не работал. Кевян заплакал потому что сучал по маме». Ничего себе, сколько ошибок! Ужас!

Я взяла красный карандаш, вытащила листок из альбома и едва коснулась бумаги острием карандаша, как тут же была сбита с ног разъяренной мелкой.

– Стой!

Но было поздно: через весь рисунок протянулась красная черта.

Лизка набросилась на меня с ревом и кулаками.

– Сука!!! Что ты наделала?!!

– Ли-из, – в комнате показалась ошеломленная Янка, – ты откуда слова такие знаешь?!

Лиза перевела на мать полный гнева взгляд.

– Дура, дура лысая!!! Взяла всё и испортила!!!

– Лиз, ну ты чего, нарисуешь новый рисунок...

– Вы ничего не понимаете! Тупые взрослые! У меня так больше не получится!!! Там у меня получилось лицо! И глаза! И диван!

Раскрасневшаяся, взлохмаченная Лизка смотрела на нас с такой искренней ненавистью, что могла бы – убила бы обеих.

Она села на стул, одним решительным движением раздвинула барахло на столе, схватила листок, ручку и принялась рисовать.

– Не получается! – в бешенстве взревела она. – Не то!!! Голова сплюснутая!

В ярости она стукнула себя по голове кулачками с обеих сторон. Затем еще раз.

– Нормально вроде... – сказала я, взглянув на ее рисунок из-за плеча. – Немного похоже на баклажан...

– Отстань! Это все ты! – Лизка скомкала рисунок и швырнула его в стену. – Ненавижу тебя! Убирайся! Во-о-он!

– Лиза, я тебя сейчас! – Янка вскипала, но я схватила ее под руку и вытащила из комнаты.

Лизка еще долго орала нам вслед. Потом что-то рисовала, комкала, швыряла в стену (судя по звукам ударов, не только комья бумаги)...

– Картошку почистишь, – бросила мне Янка на кухне. – Я пока капусту нашинкую...

В раковине была горой свалена посуда. Обычно всю мелкую работу по дому делал Леня, отличавшийся любовью к порядку. В иное время посуда была бы вымыта и выстроена в сушилке по размеру, как дети на уроке физкультуры.

Лизка зашла в комнату где-то через полчаса.

Она молча положила свой новый рисунок на стол перед Яной (подальше от меня).

– Вот тут получилось нормально.

Я вытянула шею и прочла: «Кевяну было грусно. В домике на дереве нельзя было посмотреть мультики. Телевизр показывал только помехи. И мамы не было нигде».

– Борщ будешь? – спросила ее Яна.

Малая кивнула.

– Погуляй тогда еще с полчаса.

Лизка взяла рисунок и молча вышла из комнаты. Еще через двадцать минут она включила музыку и принялась подпевать. У нее было вдохновение. Она рисовала.

С Кевяном происходили всякие разные неприятности, но не унывал и только скучал по маме.

После ужина Янка провела меня до остановки.

– Как ты это сделала? Она же ни с кем не хотела разговаривать! А тут ожила...

– Фокус-покус! – я развела руками.

Я не стала рассказывать Яне, как в Лизкином возрасте побила

Танцуй, рисуй

своего одноклассника за то, что он на уроке рисования нечаянно разлил воду на мой рисунок. Таких, как мы, творческих психов, разозлить – значит оживить. Главное – потом самому выжить.

– Они эту девочку, Дашу, навещать будут всем ансамблем через пару недель... Думаешь, стоит ее пустить?

– Пусти, конечно. Все нормально будет. Она вышла из острого состояния, – это я лягнула просто чтобы показаться умной.

Мне хотелось сказать еще много: что Лизка тоскует по Лене, хоть он и не родной ее отец, что она маленькое, вредное и грустное создание, которое перепортит еще много бумаги и нервов себе и окружающим, что вот так беспомощно лежим время от времени мы все, хотя у нас есть и руки и ноги, но как будто мы упали в темноте со скользкого матраса на пол и забыли, как вставать...

Но пока я думала, что и как сказать, Янка вдруг набросилась на меня, сдавила в объятиях и в своей странной кликушеской манере запричитала:

– Татусечка, спасибо тебе огромное, не знаю, что б я без тебя делала, я бы тут с ума сошла, мне так с тобой повезло, ты такой друг хороший, хочешь, я тебе отдам куртку кожаную свою зеленую, а то ты ходишь как бомж, совсем несчастная!

И я, вздохнув, вновь завела свою обычную пластинку про то, что ходить в черном – это такой стиль, что одежда у меня хорошая (я не врала, мое пальто стоило с половину Янкиной зарплаты, а ботинки и того больше) и все у меня замечательно.

Но Янка не слушала и все твердила, что у нее пропадает просто отличная куртка, сама бы носила, но что-то в груди жмет.

И так мы препирались до того самого момента, как я заметила во тьме три глаза электрички.

Я забралась в вагон (деревянные сиденья, боги, боги мои! Н-да, даже не знаешь, может, маршрутка, в которой тебя взбивают, как в шейкере, была бы лучше), достала из кармана пальто телефон и забила в заметки новый стих:

*Когда человек был маленький,
Он жил в раю
И постоянно бычил,
Все ему было не то и не так.
Тогда бог сломал рай,
И человеку пришлось офигевать и расти,
Хотя вопросы все равно росли быстрее него.
Смыкались кронами над ним,
Лишая света,
Но тем сильнее
Светился крошечный
Кусочек неба над головой –
Прощальная улыбка.*

В ИМЕНИ СВОЁМ ДА ОБРЕТЁШЬСЯ

Борис Оболдин

Кто же спорит? Рахманинов, вне всякого сомнения, великий, может быть, самый великий, гениальный композитор. А еще он непревзойденный исполнитель своих собственных фортепианных произведений, виртуоз из числа тех, которые рождаются раз в сто лет.

Только я вот что думаю: для того чтобы исполнять свои фортепианные концерты, у него на каждой руке должно быть по шесть пальцев, или, по крайней мере, четвертый по ранжиру палец правой руки должен иметь еще одну фалангу. Иначе сыграть этот концерт не просто сверхсложно – это совершенно невозможно. Иногда мне кажется, что его воспаленное воображение родило эту музыку в вечной неумемной погоне за непостижимой Гармонией, которую он смог-таки постичь, но, в силу невозможности исполнить ее простому смертному, она так и осталась на нотной бумаге. Этакая, знаете ли, музыкальная теорема Ферма. Многоликая, всеобъемлющая и изящная в своей непростой простоте, но так и не нашедшая своего решения, она никем и никогда не доказана.

Я прошу простить мне мое слюнявое нытье и не судить меня слишком строго. Дело в том, что я и есть тот самый уродец, четвертый по ранжиру палец правой руки, имеющий всего три фаланги, которых совершенно недостаточно для того, чтобы исполнить фортепианный концерт Рахманинова.

Четвертый по ранжиру палец – это тот, у которого нет имени, а есть только кличка, в которой заключается вся постыдность и ничтожность его существования. Я – безымянный. Стоит ли говорить о том, как это ужасно? Я уверен, что всё мои беды и несчастья берут начало в моей безымянности и нет ни малейшей надежды на то, что я когда-нибудь обрету свое истинное имя, которое у меня, безусловно, есть.

Я верю в Бога и знаю, что Всевышний изливает свое благоволение на всех, всех без исключения: и грешных, и праведных. Тот, у кого есть имя, получает это благоволение без всяких усилий со

В имени своем да обретешься

своей стороны. Как будто добросовестный и педантичный почтальон доставляет ему телеграмму, боясь опоздать хоть на минуту. А мой почтальон, может быть, самый добросовестный, самый педантичный, и днем, и ночью ходит по городу с моей телеграммой и спрашивает у всех встречаемых: «Скажите, а Вы не знаете, где живет тот, у которого нет имени? Мне его очень нужно найти!»

Так что чего уж тут сокрушаться о том, что одиночество и покинутость – мои постоянные спутники. Впрочем, насчет одиночества я немного перегибаю. Нас, таких одиноких, двое: я и Мизинец. Мизинец – пятый по ранжиру палец, а следовательно, мой пристяжной, мой чуткий и отзывчивый малыш. О нем, как и обо мне, Феликс забывает тот же час, как только закрывает крышку рояля. С этого момента, мы с малышом становимся невидимками. Всеми житейскими функциями заправляет известная троица, первые три пальца. Это они немедленно объединяются в союз, когда Феликсу вздумается взять в руки карандаш, чтобы внести поправки в партитуру. То же самое происходит, когда Феликс обедает. Ложка, вилка, столовый нож, даже чашечка кофе – все эти предметы обихода проходят через их объятия, внося в их жизнь значимость, нужность для Феликса. Мы же с малышом должны спрятаться в полумрак нашей родной ладони, подпирая её и придавая ей необходимую твердость. Это они, первые три пальца, непреременные участники бесед Феликса, который, при всей своей немногословности, любит выражать самого себя жестами (разумеется, только в те минуты, когда не музицирует). Иногда Феликс ходит в церковь, ставит свечи, крестится перед иконами. Надо видеть, как преображаются в эти минуты и Большой, и Указательный, и Средний от осознания возложенной на них миссии: сейчас они символ Той, Единой и Неделимой, Святой Троицы. Мы же с малышом, как обычно, прячемся в глубь ладони и все-таки осознаем, что мы тоже символ. Символ Того, Кто, имея Божественную сущность, однажды стал Человеком, а значит, у Него тоже были пальцы. От этих мыслей нам с малышом становится как-то

особенно тепло и уютно в глубине нашей родной ладони.

А ведь когда-то я был счастлив, безмерно счастлив. Счастлив настолько, что мне иногда кажется, будто это какой-то удивительный сон, и он, этот сон, чужой.

Ходить Феликс научился все-таки раньше, чем мы впервые коснулись клавиш, но я думаю, что два этих события разделяет не слишком много времени. Нетрудно догадаться, кто первым потрогал такую красивую, сияющую белизной пластину. Конечно же, это выскочка Указательный, хотя его и можно понять: таилась в этих черных и белых пластинах какая-то притягательная сила. Феликс осторожно потянулся к ним, но торопыга Указательный тут же неуклюже ткнулся в сверкающий белый глянец. Вот тут-то и произошло чудо: бедная клавиша от неожиданности подалась и стала тонуть, жалобно пропев: «А-ай!» «А-ай!» вдруг вспорхнуло и повисло над роялем светящимся розовым облачком. Это завораживающее волшебство длилось целых две октавы, никак не меньше. Облачко чуть-чуть подрагивало и медленно остывало, готовое вот-вот раствориться в тишине комнаты. Только вот растворится просто так, без причины, ему не удалось. Ни с того ни с сего оно возьми да и оброни прозрачную звонкую капельку. Потом только я понял, что у братства левой руки тоже был свой торопыга и наверняка его звали Указательным.

Что тут началось! Вся наша братия, спотыкаясь и перепрыгивая друг через друга, бросилась туда, где из отдельных и беспорядочных звуков-капелек уже робко зарождался дождь. Только робким он оставался недолго. Очень скоро разрозненные капли сменились сплошным ливнем, сопровождаемым громовым похохатыванием приближающейся грозы. Ах, как упоительно бегать по теплым лужам, гоняясь за раздувающими щёки пузырями, подставляя всего себя под благодатные струи! Еще! Я хочу еще!

Но все когда-нибудь кончается. Помимо упоительной беготни под дождем надо еще заниматься и обыденными делами: учиться крепко держать ложку, завязывать шнурки, застегивать пугови-

В имени своем да обретешься

цы – да мало ли занятий у пальцев. Другое дело, что после того памятного дня Феликс при малейшей возможности бежал к роялю, где нас уже ждал наш замечательный дождик. И всякий раз он был не похож на предыдущий: иногда он оказывался веселым, иногда – грустным, иногда – грозным. Случалось, что сквозь тучи проглядывало солнце и тогда вдалеке можно было увидеть поблескивающую водную гладь – речка. А за речкой – сад.

Ах, какой это сад! Он завораживал благоуханием цветов и трав, призывным птичьим разноголосьем, буйством цветов и красок, манил своей таинственностью и недоступностью. Наверное, за этим садом ухаживал какой-то необыкновенно искусный садовник, может быть, даже волшебник, влюбленный в этот сад. Вот только о том, чтобы добраться до него в одиночку, нечего даже и думать. А добраться туда очень хотелось.

И ведь надо же было такому случиться: нашлась, нашлась-таки рука, которая грубо и бесцеремонно обхватила всю нашу семейку и упрямо потянула, потащила нас в сторону сада. Я еще подумал тогда, что это и не рука вовсе, а какой-то осьминог-пальцеед с пятью щупальцами.

– Ну-с, молодой человек, позвольте представиться: Авенари. Иван Иванович.

Вслед за этими словами я увидел, как к нам тянется тот самый осьминог, которого я по ошибке принял за чью-то пятерню, и тут же почувствовал, как Феликс, преодолевая страх, заставляет нас тянуться к этому чудовищу.

– А я – Феликс, - робко произнес он.

– Ну вот и прекрасно!

Прекрасно?! Осьминог тут же хищно вцепился в нас своими могучими щупальцами, стал выламывать нам суставы, пытаясь вывернуть их наизнанку, и на меня уставились два плотоядных глаза, буквально пожирающих всю руку до самого запястья.

– Ай! Больно!

– Ничего, ничего, юноша... Потерпите.

Внезапно пальцеед разжал свои жуткие объятия и превратился в обыкновенную ладонь, пальцы которой вполне дружелюбно похлопывали нас по суставам.

– А рука-то у вас, молодой человек, зам-замечательная! Я бы даже сказал, удивительно замечательная. Во всяком случае, на моем веку сей уникум встречается впервые. Позвольте полюбопытствовать: сколько же вам лет?

– П-пять...

– Пять!? Ах, молодой человек, молодой человек! С такими руками, как у вас, провидение должно было нас познакомить не сколько раньше. Ну да пять все же лучше, чем шесть. Мы с вами еще все наверстаем.

Станный он какой-то, этот Авенари. Почему пять лучше, чем шесть, а четыре лучше, чем пять, и что он хочет наверстать – непонятно. Да, и вообще – от знакомства с ним мы не ждали ничего хорошего. Во всяком случае, с того дня нам пришлось распрощаться с нашим замечательным дождиком.

Вы видели когда-нибудь, как маршируют на плацу солдаты? «Ать-два! Ать-два! Ать-два! Кругом! Стой!» И снова: «Ать-два, ать-два...» Нас ожидало нечто очень похожее. Правда, Авенари называл эту муштру «ставить руку». Теперь изо дня в день, по нескольку часов кряду, над нами громыхал его баритон: «И-та-та! И-та-та-та! Четче, юноша, четче! Давайте-ка еще раз. И-та-та-та!» К концу дня после таких, с позволения сказать, «занятий», я чувствовал, как ноют мои распухшие суставы, как больно ударяет пульс в подушечку ногтевой фаланги. В такие минуты Феликс складывал нас лодочкой и устремлял в такие родные, такие ласковые ладони своей мамы, хныча и прося защиты. Мамины ладони опускали нас в таз с теплой водой, от которой сразу становилось легче, потом осторожно втирали в суставы аромат какого-то крема, но защитить от Авенари они нас не могли.

– Что ж тут поделаешь, милый Феликс? Ты же хочешь стать музыкантом?

В имени своем да обретешься

– Не хочу-у!

– Ну, дорогой мой! Тогда тебе придется смириться с тем, что ты никогда не попадешь в свой прекрасный сад за речкой и никогда не полетишь вместе с нашим жаворонком к солнцу.

На этой маминой ноте Феликс переставал хныкать, вздыхал примирительно и снова устремлял нас в объятия маминых ладошек. Так мы и засыпали, в маминых объятиях.

Просыпался я оттого, что мои суставы осторожно разминали знакомые нежные ладони, разогревая их, выгоняя остатки вчерашней усталости. Потом следовала ставшая повседневной процедура втирания крема и начиналась очередная маршировка: «И-та-та-та-та...» Правда, тональность в голосе Авенари мало-помалу стала меняться: «А вот тут недурно, совсем недурно исполнено! Сможете повторить, юноша? Давайте попробуем. Ну же! Смелее, юноша, смелее!» Да и сам я чувствовал, что становлюсь другим: крепким, быстрым, чутким, отзывчивым. Я даже не заметил, в какой момент маршировка сменилась бегом трусцой, а потом и вовсе перешла в этакий марш-бросок по пересеченной местности.

Вот тут-то и произошло нечто совершенно необычное. Иван Иванович подошел к роялю и совсем рядом с нами окунул в клавиши свои жуткие щупальца, которые, вопреки всем ожиданиям, проворно и изящно заскользили по всей клавиатуре, и я сразу почувствовал, какой же я все-таки неуклюжий, неловкий. Конечно же, я невольно стал подстраиваться под его упругую иноходь и вскоре запорхал рядом с ним, жутко боясь того, что в спешке возьму и забегу на четверть ноты вперед, и тогда пиши пропало: исчезнет, пропадет это удивительное согласие в нашем обоюдном движении. В то время я еще не знал, что впервые прикасаюсь к Гармонии, стремление обрести которую станет смыслом моей жизни да и смыслом жизни всех моих братьев.

И что же вы думаете? Где мы очутились в конце концов? Ну, правильно же! В саду! В моем замечательном, в моем прекрас-

ном саду!

Вскоре Авенари безнадежно отстал, предоставив нам возможность побыть наедине с садом, окунуться в его тенистую прохладу, пронизанную благоуханием цветочных ароматов, тихим шорохом листвы, которую как бы невзначай взъерошивал забредший вместе с нами озорной ветерок, вслушиваться в звонкое птичье многоголосье, кататься кубарем по мягкой траве, а потом опрокинуться навзничь и рассматривать безмятежно проплывающие по небу облака.

– На сегодня достаточно. Отдыхайте, юноша, – голос Авенари, доносящийся из какого-то другого мира, застал нас врасплох. Мы вдруг снова очутились в учебном классе.

– Иван Иванович, миленький! Ну давайте еще хоть совсем-совсем немного погуляем по саду! Пожалуйста!

Авенари притворно вздохнул («куда ж от вас денешься, юноша») и вновь окунул свои замечательные щупальца в прозрачный ручей, шутиливо обдав нас брызгами какой-то удивительной мелодии. В ответ мы тут же подхватили ее и окатили Авенари целым каскадом прекрасных звуков, рождающихся из тишины прямо у нас на глазах. В те минуты я впервые осознал, что мы с Феликсом в наших прогулках по саду в поисках таинственной Гармонии можем из разрозненных звуков сплести мелодию. Это стало удивительным открытием. Это – счастье, настоящее счастье.

Теперь я часто просыпался по ночам от того, что Феликс во сне перебирал нами воображаемую клавиатуру и счастливо улыбался. Во сне он сплетал очередную Мелодию. Вот только жаль, что, проснувшись, он не вспоминал о ней.

Кстати – о щупальцах. Но прежде надо сказать о том, что в наших упоительных прогулках по саду время не то чтобы переставало существовать, просто в саду оно измерялось уже не просто мгновениями, а сонатами Бетховена, Шуберта, Листа, а это уже совершенно другая категория измерений. Поэтому мне трудно сказать, в какой момент щупальца Авенари перестали быть щу-

В имени своем да обретешься

пальцами. Знаю только, что к тому времени Феликс уже влюбился в Моцарта по самые запястья, а мне, недостойному, уже довелось осязать благородную тяжесть лауреатской медали за победу в конкурсе молодых исполнителей. Конечно же, и прогулки с Моцартом, и медаль лауреата, и знакомство с другими пальцами, восторженно тискающими нас в трогательных рукопожатиях, – все это вселяло в нас уверенность в том, что уж теперь-то мы с полным основанием можем причислить себя к немногочисленному союзу избранных, тех, у кого на ладони лежит великая Гармония.

Какая детская наивность! Какая непростительная самонадеянность!

Благо Авенари умел не только открывать Феликсу необозримые горизонты, но, при необходимости, спускать его с зыбких и призрачных высот на грешную землю.

– Ай-яй-яй-яй! Вы совершенно теряете форму! Нельзя же так расслабляться, дорогой Феликс! Это абсолютно недопустимо! Я бы даже сказал, что это преступно! Вам должно помнить, молодой человек, что почивание на лаврах есть прямой путь к деградации творческой личности! Забудьте про то, что вы какой-то там лауреат и соберитесь! Соберитесь! Соберитесь! Тем более что я собираюсь пригласить вас на разговор с Богом! Не желаете ли полюбопытствовать? – провозгласив эту разгромную тираду, Авенари бухнул на стол увесистую папку с нотами. Феликс раскрыл ее и позволил нам пробежаться по хитросплетениям нотной вязи.

Ах, какой это был узор! Он оказался просто сказочен – ничего подобного я не встречал ранее. Ноты кружились в какой-то фантастической пляске, то устремляясь к какому-то им одним известному центру, то вдруг взрывались и разлетались, роняя паузы, то вновь устремлялись к призрачному центру. А паузы?! Они не являлись пустотой. Они тоже наполнялись каким-то смыслом. За их тишиной можно было услышать невыплаканные слезы, невысказанную грусть, едва сдерживаемый гнев, скрытое негодование,

горечь какой-то непоправимой утраты!

Рахманинов!!! Это был он!

И тут я почувствовал, что замерзаю, холод буквально пронизывал меня. Нет-нет: нам не знаком мороз, боль от ушибов, досадные занозы или что-либо подобное, так часто сопровождающее наших собратьев. Холод я ощущал только тогда, когда Феликс испытывал страх. Сейчас Феликс страшился. И я начал понимать причину его страха: партитура открывала ему какие-то новые, совершенно недостижимые высоты. Там, в этой недостижимости, и находилась обитель великой Гармонии, а нам, порхающим над грешной землей, доступен лишь ее слабый отблеск. Такое открытие способно кого угодно повергнуть в шок.

– А я и не говорил, что это будет легко, – сказав это, Авенари пошел к роялю.

И с чего вдруг я решил, что его руки – это щупальца! Прямо бред какой-то! Не было никаких щупалец. Были крылья, пара мощных, прекрасных крыльев, двух взмахов которых достаточно для того, чтобы Авенари взмыл к захватывающим дух заоблачным высотам. Как мы ему завидовали! Её Величество Гармония благоволила ему!

Так вот ты какое, Седьмое Небо! Прекрасное и пугающее, зычно мерцающее и отталкивающее свое недостижимостью, рождающее в нас непреодолимое желание достичь высот совершенства и в то же время заставляющее осознавать свою косность и приземленность. В эти минуты Феликс оказывался близок к отчаянию.

– Я вовсе не собираюсь вас утешать, юноша. Напротив – я хочу, чтобы вы разозлились. А, ну-ка, топните ножкой, да посильней, и давайте начнем работать, работать, работать. А начнем мы с вами с пятого прелюда си-минор, опус двадцать три.

Уж в чем не откажешь Авенари, так это в склонности к тирании. И я почему-то сразу вспомнил пальцеда, чуть не пожравшего нас в первые минуты нашего знакомства. Хотя в глубине души

В имени своем да обретешься

я и осознавал, что Авенари, этот жестокий и бесчувственный тиран, рано или поздно приведет Феликса к Гармонии, так же, как однажды он привел его в наш сад. И мы были готовы к новым испытаниям.

Прелюд... Он не подпускал нас к себе, не открывался. Мы для него оказались чужими. Но не это самое страшное. Беда, как водится, приходит с той стороны, откуда ты ее совсем не ждешь. Мы стали чужими не только для прелюда, но и для Феликса. Феликс, наш милый, добрый Феликс стал ссориться с нами. Раньше у нас случались минуты, когда Феликс от избытка переполнявших его чувств утыкался в нас лицом, готовый расцеловать каждого. Теперь же он начинал день с того, что подносил руки к глазам и гипнотизировал нас колючим взглядом. «Вы жалкие, ничтожные пресмыкающиеся, – говорил его взгляд, – к роялю вас можно подпускать только для того, чтобы вытирать пыль с его крышки. Но я заставлю вас работать! Я вас заставлю!»

Как нам было больно! Больше всех от этих сеансов гипноза страдал Мизинец. Он почему-то решил, что Феликс обращается к нему одному, что это он один не способен к полету и заслуживает самого сурового и справедливого наказания.

Бедный, бедный Малыш! По ночам я теперь долго не мог уснуть, чувствуя, как рядом со мной дрожит, плачет мой маленький брат. И я стал теснее прижиматься к нему, а потом, пытаюсь согреть его, оградить от душевной непогоды, еще и укрывать. Укрывать... крылом. Крылом?! Откуда у простого смертного, безымянного пальца, крылья? Я не знаю, но раз они есть, значит, так нужно. И я вдруг осознал, что могу помочь Мизинцу. Надо ему показать его крылья, которые у него тоже есть и которые тоже готовы к полету.

Ах, Малыш, Малыш! Когда он увидел свои крылья, то мне пришлось слегка отстраниться и легонько толкнуть его, чтобы он поверил, что это не сон.

Ну а следующий день стал продолжением чуда. Открылся, открылся-таки прелюд. Открылся во всем своем величии, во всей

своей многоликости. Открылся сам и открыл нам новые высоты, новые горизонты. Теперь я знал, что до горизонта можно долететь и на одном вздохе, на одном аккорде пронзить его и лететь дальше, к новому горизонту, открывать для себя новые, еще незнакомые высоты. И Гармония, зыбкая, ускользящая Гармония уже не показалась недосягаемой. Она находилась где-то рядом. Казалось, сделай над собой еще одно усилие, поддайся душевному порыву, и она поверит тебе, распахнет благосклонно свои объятия, позволит нам стать сопричастниками этого величественного движения к Совершенству.

Наверное, я смешон в своих восторгах. И вскоре я это понял. Ну зачем? Зачем я позволил иллюзиям овладеть собой? Ведь я же знал, какую нестерпимую боль может доставить разочарование, каким тягостным бывает прозрение.

А ведь мы уже воспарили к высотам, с которых уже можно было одним взглядом охватить величественного колосса, созданного Рахманиновым, – его первый концерт для фортепиано с оркестром.

– Хочу заметить, юноша, что в жизни каждого человека иногда происходят события, определяющие всю его судьбу, и многое, очень многое зависит от того, как человек это событие воспримет.

Уж кто-кто, а я-то хорошо знаю Авенари и за его вкрадчивыми словами сразу почувствовал угрозу. Он ободряюще приобнял Феликса за плечи, но в голосе его слышались металлические нотки:

– Пора, мой друг, пора! Пора вам познакомиться с уникальным представителем славного племени клавишных инструментов. Сразу хочу оговориться: сей уникал весьма своенравен и подпускает к себе далеко не каждого. Ну да я думаю, вы с ним поладите.

«Уникум» прятался за кулисами Малого зала консерватории и безмятежно дремал под какой-то цветастой «попоной». Он не соизволил проснуться даже тогда, когда Авенари картинным же-

В имени своем да обретешься

стом сорвал с него покрывало. Бог Ты мой! Что это за чудовище! Какой-то ископаемый мастодонт! Потускневший, потрескавшийся, отбитый по углам лак, расхлябанная крышка с затертой, едва различимой надписью «STEINWEY», пожелтевшие от времени и частого употребления «зубы» клавиш. Неприглядную картину дополняли обшарпанные ножки, о которые спотыкалось не одно поколение работников сцены. Правда, одна из этих ножек сияла свежим лаком. Этакий, знаете ли, новенький протез.

Авенари не спеша подошел к нему и дружески похлопал по крышке. Ах, как он отозвался! Кто же мог ожидать, что под шкурой этого мамонта скрывается такая чуткая, такая тонкая душа?! Всеми своими струнами он выдал удивительно сочный, тугий аккорд, который уже сам по себе мог украсить любую симфонию. Что звенело в этом прекрасном звуке? Вызов! «Я готов поднять тебя на вершины Гармонии, но я не прощу тебе даже намек на фальшивый полутон! Только попробуй недосказать хотя бы одну ноту!»

Ах, как невовремя я стал замерзать. Не ко времени, совсем не ко времени я ощутил предательский холод, за которым скрывался страх Феликса перед этим монстром. Сейчас этот холод передастся клавишам, и «STEINWEY» тут же отразит его в нотах, а холодные ноты, пусть даже, грамматически безупречно выстроенные, никогда не станут совершенными. То, что произошло дальше, иначе как издевательством не назовешь. «STEINWEY» показал нам разницу между вечной Истиной и суетным устремлением обрести эту Истину сейчас, немедленно. За этой суетностью угадывались извечные враги Гармонии – хаос и фальшь. «Гармонии нет! Все твои усилия тщетны!» – кричали они. Бедный Феликс готов был расплакаться.

– Не отчаивайтесь, друг мой, – донесся до нас голос Авенари, – у нас с вами все получится. И времени еще предостаточно. Ваше исполнение концерта Рахманинова будет представлено на суд взыскательнейшей аудитории только через три месяца. Вы толь-

ко задумайтесь: целых три месяца. Хотя потрудиться придется основательно. Днем вы репетируете с оркестром в Большом зале консерватории, а с восьми часов вечера и до самого утра Малый зал всецело принадлежит вам. Можете начинать прямо сейчас.

Сегодня-то я уже точно знаю, что нет никакой разницы между мимолетным мгновением и непреходящей Вечностью. Мгновение и Вечность – суть одно и то же. Я это могу уверенно утверждать потому, что те три месяца с легкостью втиснулись в малость одного мгновения и так же легко заполнили собой Вечность. Долго, нескончаемо долго тянулись дни и часы, но все же три месяца пролетели как один миг. Это было время отчаянной борьбы за утверждение Гармонии, и эта борьба не прекращалась даже в недолгие часы сна на жестком закулисном топчане. В это непростое время Авенари вел себя по меньшей мере странно. По вечерам он приходил в Малый зал, усаживался на стул и молча слушал. Потом поднимался и так же молча уходил. Ни одного слова поддержки! Зато поддержал нас старина «STEINWEY». Это он в конце концов выдал сочный аккорд: «Я не знаю, что такое хаос, но я знаю, что такое Гармония!»

И еще вот что. Однажды Авенари пришел за кулисы не с пустыми руками. Он принес с собой какую-то громоздкую шкатулку. Поставил ее на рояль, извлек кусок мягкой материи и бережно выложил на него две гипсовые скульптуры, вернее сказать, это оказались скульптурные портреты чьих-то рук. Затем он охватил нашу ладонь и положил ее рядом со скульптурами. Бог ты мой! В скульптурах я узнал всех своих братьев: и добродушного толстяка Большого, и выскочку Указательного, и высокомерного Среднего, и смешливого малыша Мизинца.

– Это гипсовые слепки, снятые с рук великого Рахманинова. Будет вовсе не удивительно, если папиллярный узор ваших пальцев полностью совпадет с узором, отпечатавшимся на гипсе. Я не верю в случайные совпадения, но знаю, что миром правит Провидение и Божий промысел. Сдается мне, что великий Рахмани-

В имени своем да обретешься

нов знал, кому передать свои руки. Надеюсь, это обстоятельство поддержит вас, мой славный Феликс, в вашем подвижничестве, – впервые за все годы нашего общения в голосе Авенари за-теплились нотки отеческой заботы. – Позволю себе напомнить, юноша, – продолжал он дальше, – ваше выступление состоится в Большом зале в пятницу. Если учесть, что сегодня вторник, то это будет означать, что настало время сделать паузу. Вам просто необходимо отдохнуть перед выступлением. Отоспитесь, погуляйте по свежему воздуху, посидите в каком-нибудь кафе, наконец. А я прослежу за тем, чтобы вы подходили к инструменту не более, чем на час в день.

Какое это странное состояние – отдых. Уже на следующий день я заскучал по нашему «Стейнвею» и едва дождался пятницы. А утром в пятницу меня охватило смешанное чувство тревоги и ожидания чего-то очень значительного. Наверное, подобные чувства испытывает монах-схимник перед своей кончиной, когда он с облегчением готовит себя к встрече с Всевышним и в то же время его охватывает страх предстать пред Ним во всем своем несовершенстве, во всей своей ничтожности. Об эту пору черпает монах силы в уединении, когда предается созерцанию себя в Боге.

И Феликс тоже искал уединения. До выхода на сцену оставалось не так уж много времени, когда он, оставив свои тревоги и не зажигая свет, шагнул в темноту закулисного пространства Малого зала, заставил нас нащупать стульчик и поднять крышку нашего замечательного «Стейнвея». Ах, как успокаивающе, как безмятежно зазвучал в темноте Гайдн. Безмятежность – это как раз то, что нам сейчас было нужно. Но что-то не давало мне полностью погрузиться в это блаженство. Что-то я не так сделал? Или не доделал? А-а-а! Я вспомнил: в темноте я не слышал стука открывающейся крышки о рояль, мы ее не распахнули до конца. А что, если она сейчас возьмет и захло..?

Поздно! Непростительно поздно я понял причину своего бес-

покойства. Последнее, что я запомнил, прежде чем потерять сознание, – яркая вспышка боли, сопровождаемая странным, глухим, абсолютно немзыкальным звуком, и я погрузился совсем в другую темноту, о существовании которой даже не подозревал.

Очнулся я от обдавшего меня потока холодной воды, тщетно пытающегося остудить застрявший внутри меня раскаленный осколок боли. Вокруг меня суетились какие-то чужие пальцы. Наверное, они хотели мне помочь, но вместо этого добавляли к моей нестерпимой боли еще и раздражение.

– Ничего-ничего... Сейчас все пройдет... Сколько осталось времени? Можно, я побуду один? – Феликс каким-то чужим голосом проговаривал совершенно бессвязные фразы. Наконец, когда мы остались одни, он упал в кресло и приблизил нас к своим глазам. Ну конечно! Чего еще можно было ожидать от Феликса в эти минуты? Сейчас он будет меня гипнотизировать, испепелять своим взглядом, убеждать, что никакой боли нет и что мы сейчас встанем и пойдем на сцену Большого зала. Но что я вижу? Это даже не глаза, это – само отчаяние. Отчаяние и мольба. Мольба, обращенная ко мне. И еще я увидел, как у него под нижними веками стали собираться маленькие дрожащие лужицы. Лужицы дрожали-дрожали, а потом взяли да и пролились на лицо Феликса.

Бог ты мой! Я вспомнил, что это за лужицы! Я видел их на глазах Феликса тогда, когда жестокий и неумолимый пятипалый осьминог-пальцеед вынуждал нас издеваться над клавишами, заставляя их извлекать из хаоса Музыку. Видеть это оказалось невыносимо, и я весь задергался, пытаюсь через пульсирующую во мне боль поддержать Феликса, помочь ему справиться со своим отчаянием.

«Услышь меня, Феликс! Может быть, наша боль – это как раз то, чего нам не хватает для достижения Гармонии. Она нам поможет! – честно говоря, я сам не верил своим словам, но надо было, чтобы он в них поверил. – Вставай, Феликс! Подымайся! Мы идем

В имени своем да обретешься

на сцену!»

Сцена... Да разве же это сцена? Это эшафот какой-то. И со всеми полагающимися атрибутам, главный из которых – плаха, коварно изображающая из себя рояль. На этой самой плахе меня сейчас и будут четвертовать на радость кровожадной публике.

А за пюпитром стоит палач, пытающийся спрятаться за личной маэстро Авенари. Бледный как смерть палач держит в правой руке орудие пытки. И пусть меня не вводят в заблуждение, убеждая, что это всего лишь дирижерская палочка. Лицо палача искажено гримасой ободряющей улыбки. «Готов ли ты принять смерть, обреченный?» – спрашивают его глаза. Феликс, мой милый Феликс, утвердительно наклоняет голову. И орудие пытки начинает подниматься. Выше, выше...

Все! Началось! Первыми забили тревогу валторны. «Вставайте! Вставайте! Тьма не должна победить!» На их призыв тут же откликаются скрипки, а еще через пол-октавы вперед должна выступить главная ударная сила – фортепиано. Во имя Света! Во имя Гармонии! Вперед! И да поможет Всевышний преодолеть мою боль!

Странное дело, пока мы порхали над клавишами, боль уходила куда-то в сторону. Правда, все, что открывалось моему взору, окрашивалось в пурпур. Боль становилась невыносимой только тогда, когда фортепиано брало паузу, выпуская вперед струнные. И тянулась эта пауза бесконечно долго. А впереди еще вторая часть концерта, утверждение светоносного начала над тьмой. В какой-то момент пурпур становится ослепительно ярким, я понимаю, что силы покидают меня и сейчас я умру.

Пусть я умру, пусть! Но пусть благословенная Гармония справит по мне тризну! Это все, чего я сейчас хочу. Да будет Свет!

А Свет уже устремляется ко мне навстречу. Его несет Тот, Кто протягивает ко мне прекрасные, удивительно прекрасные руки. Руки обнимают меня, поднимают и прижимают к тому месту, где, вероятно, у Него сердце.

Что со мною происходит? Я погружаюсь. Боже правый! Я погружаюсь в Гармонию! Ее рождает Тот, Кто обнимает меня. Ее рождает Его дыхание, стук Его сердца, шорох Его одежд. И малейшие оттенки моего душевного порыва тут же отзываются в Гармонии. Я – часть Гармонии! Больше нет боли, нет терзающих душу сомнений, нет и уже никогда не будет отчаяния. Есть только Любовь и Гармония!

Но уже звучат финальные аккорды. Руки, рождающие Свет, опускают меня на пурпурную сцену. Ну вот и все: последний аккорд, медленно затухая, одиноко зависает над залом. Остывают струны скрипок и виолончелей, я чувствую, как пытается отдышаться, будто загнанный конь, рояль, и вслед за тем все пространство зала заполняет гробовая тишина. Долго, нескончаемо долго длится тягостная пауза. Зал безмолвствует.

И я начинаю понимать, что в зале никого нет. Все пришедшие к Рахманинову сейчас находятся там, на высотах Гармонии. А когда они опускаются на грешную землю, то из зала на сцену накатывается какой-то шорох, сопровождаемый поскрипыванием кожаных кресел. Люди встают со своих мест, и вслед за тем над их головами мечутся и порхают, бьются в безудержных овалциях сотни, тысячи моих братьев.

А я? Я заплакал. И мне не стыдно моих слез. Это слезы радости, слезы облегчения. Я еще подумал тогда, что мне удалось-таки достойно пройти через горнило сурового испытания, может быть, самого сурового испытания в своей жизни. Откуда мне было знать, что ровно через неделю, в следующую пятницу, меня ждет еще одно испытание, не менее суровое.

В эту ночь, несмотря на боль, которую убаюкивал, успокаивал укутывающий меня бинт, я засыпал счастливым. Ощущение счастья не покидало меня и в последующие дни. Я даже начал привыкать к своей боли, которая уже перестала пульсировать, но постоянно ныла во всех моих суставах. К тому же укутывающий меня бинт делал меня неуклюжим, скованным. В таком состоянии

В имени своем да обретешься

о том, чтобы подойти к роялю, можно было только мечтать. Да, и вообще все эти дни я находился в какой-то дреме и в моих воспоминаниях о встрече с Рождаящим Гармонию.

А бинт взял да и соскользнул с моих фаланг, предоставив меня самому себе. Прошло какое-то время, прежде чем я начал соображать, что же на самом деле происходит. А происходило вот что: Феликс облачался в роскошный, со вкусом подобранный пиджак. Судя по этому пиджаку, нас ожидало какое-то важное событие. Да вот только пиджак этот слишком строг для сцены, я бы даже сказал, что он совсем не артистичен. В таких пиджаках щеголяют разве что важные государственные мужи на каких-нибудь ответственных приемах. А что? Случается ведь и такое, что высокие вельможи удостаивают своим вниманием служителей Гармонии. Ну, что же – прием значит прием. Меня беспокоило только одно: предстоящие рукопожатия. Да ведь наверняка мы будем встречаться не с членами Олимпийской сборной по греко-римской борьбе. Авось выдержим.

Вскоре я начал осознавать, что в своих предположениях о грядущем приеме я не совсем прав: слишком много цветов, да и Феликс для официального приема как-то уж слишком нервозен, дергается, забывая о том, что доставляет мне боль. А когда мы наконец, вошли в какой-то зал, заполненный людьми, он и во все разволновался, перестал себя контролировать, неосторожно взмахнул рукой, шаркнув кистью по колонне. Дремавшая во мне боль только этого и ждала: тут же ослепила яркой вспышкой, окрасив окружающее в пурпур. Когда же пурпур все-таки рассеялся, то взору моему предстало матово поблескивающее серебряное блюдо. При виде этого блюда мне стало как-то уж совсем не по себе. Наверное, это потому, что лежащие на блюде два сверкающих, прямо-таки полыхающих желтым пламенем обруча излучали тревогу и опасность. А дальше произошло вот что: три моих брата, первые по ранжиру, охватили сверкающий обруч и устремили его навстречу самым прекрасным пальцам на свете.

Маша! Мария! Я узнал ее. Ей принадлежали эти прекрасные руки.

А сверкающий обруч уже вбирал в себя одного из моих братьев, такого же безымянного, как и я, и было заметно, какие усилия прикладывали мои братья для того, чтобы протиснуть обруч через сустав. Наверное, сейчас они возьмут второй обруч и увенчают им какой-нибудь палец на второй руке. Но что я вижу? Это Машины пальцы берут обруч, а Феликс заставляет меня через полыхающую во мне боль выпрямиться и устремляет навстречу обручу. Так вот, значит, какая участь меня ждет! Это я предназначен на заклятие этому идолу, этому обручу.

«Не делай этого, Феликс! Я не выдержу этой боли. Я умру, меня безжалостно отсекут, и ты уже никогда, слышишь, никогда не исполнишь ничего, кроме вальса для хромой собаки!»

А обруч уже поглощает меня.

«Моцарт! Где ты, Моцарт? Я умираю, Моцарт! Сыграй на прощание бедному и несчастному безымянному пальцу свой «Реквием», во имя Гармонии!»

Наверное, мои стенания услышал Тот, Кто рождает Гармонию. Потому, что тут же откуда-то сверху донеслось пение фанфар. Но причем тут «Сон в летнюю ночь» Мендельсона? При чем тут этот марш? Я просил «Реквием».

Пение фанфар заглушает хрустящий, абсолютно немusыкальный звук, сопровождаемый такой знакомой ослепительной вспышкой боли.

Меня нет. Я умер.

Я умер? Скорее да, чем нет. Потому что уже нет и уже никогда не будет этой боли, которая, в конце концов, доконала меня. Но есть покой и умиротворение. Правда, на Преисподнюю это место совсем непохоже. Оно, скорее, напоминает нашу спальню. Тот же приглушенный свет ночника, то же дуновение предрассветной прохлады, тянущее от приоткрытого окна, а еще – аромат духов, Машиных духов. Маша рядом?

В имени своем да обретешься

В подтверждение моим догадкам до меня доносится Машин шёпот: «Милый мой, любимый мой! Ты настоящий волшебник! Твои руки, твои удивительные пальцы сотворили чудо, божественное чудо! А... Обручальный? Тот, который нас соединил? Он настоящий герой и заслуживает поцелуя».

О чем это она? Какой Обручальный? Ну да, я все понимаю: нашего полку прибыло. А где прибыло, там и убыло. Действительно, кому теперь нужен несчастный безымянный калека. Будь счастлив, Обручальный! Может быть, и тебе когда-нибудь доведется познать Гармонию. И вы, братья мои, простите меня!

За этими горестными размышлениями я не сразу понимаю, что происходит: это меня касаются Машины губы.

Обруч! Я вспомнил: обруч! Это он поглощал меня, а теперь сковывает мою фалангу. Выходит, Обручальный – это я? Я – Обручальный! Мое истинное имя через боль, через отчаяние все-таки нашло меня! Какое гордое, какое звучное имя – Обручальный! Оно больше никогда не оставит меня, я его никогда не потеряю. И Машины пальцы теперь всегда будут рядом. Надо только изо всех сил стараться быть достойным своего имени. Я – самый счастливый палец на свете. Я – Обручальный!

И вот еще что: на днях Феликс позволил нам пробежаться по партитуре Второго концерта Рахманинова. На этот раз мы совсем не чувствовали холода. Мы только еще больше затосковали по Гармонии. И я знаю: скоро, очень скоро мы вновь окунемся в ее объятия.



МИЛАЯ МИЛА

Наталья Веселова

Ночь долгая. Под одеялом у Бабушки густое и душное тепло. Они с Милой всегда спят на одном широком диване – так уж повелось с самого начала, с того дня, когда Бабушка взяла Милу жить к себе. Того дня? Она едва ли понимает, что такое – тот день... Ну, просто день – что-то почти знакомое: это когда за окном становится светло-светло и Бабушка – грузная, как узел с бельем, в одной длинной-предлинной рубашке, с растрепанной светлой косичкой через плечо – выбирается из уютной постели, пошире раздвигает тяжелые шторы и задумчиво говорит: «Ну вот и еще один день пришел». Тогда Мила тоже выпрыгивает из постели, бросается к окну, тревожно смотрит в их скудный дворик, никого там не видит и начинает изо всех сил толкать Бабушку головой, вопросительно заглядывая ей в глаза:

– М-м? М-м? – громко стонет она.

Это Мила хочет спросить: «Кто? Кто пришел?» – но говорить ей так и не удалось научиться, сколько она ни старалась. Со временем она, правда, поняла – «день пришел» означает, что за окном стало светло, и он, этот День, будет здесь до тех пор, пока не стемнеет, – и тогда придет Ночь. И станет хлопать от сквозняка вечно открытая форточка, а в тревожных ночных отсветах наискось помчатся тучи больших белых бабочек. Миле их не достать, этих ледяных бабочек. Правда, однажды, когда Бабушки не было в комнате, она ухитрилась взобраться на подоконник, оттуда кое-как дотянуться до форточки – и одна бабочка села ей прямо на нос! Села – и сразу укусила ее маленький носик мгновенным холодом! А потом пропала... Нет, это оказалась совсем не такая бабочка, которую однажды посчастливилось поймать, когда во дворе было тепло-тепло, как у бабушки в кровати, и Мила часами просиживала у открытого окна. Бабочка долго летала перед ней – жирная, белая – и дразнила, дразнила Милу своей наглой легкостью. А Мила не будь дурой напряглась и – хватать! Сильными пальчиками сжала белую пленницу намертво и отправила в рот – даже не поняла, как это получилось: ведь хотела только рас-

Милая Мила

смотреть... Она не успела оценить – вкусно ли ей, когда в комнате откуда-то появилась Бабушка, всплеснула руками и кинулась к Миле с криком:

– Что ты делаешь! Выплюнь! Плюнь сейчас же! Скажи: «Тьфу»!

Мила любила делать все наоборот – не по своей воле, а просто так выходило, поэтому она как могла крепко сжала челюсти, и тогда Бабушка принялась раскрывать ей рот насильно, запрокинув несчастной голову и зажимая ей нос.

– Какая гадость! – приговаривала она. – Какая гадость! Это же бабочка! Как ты только можешь! А если она какая-нибудь ядовитая?!

Зато так Мила узнала, что все белое и легкое, что летает днем и ночью, в жару и в холод мимо их окна, называется «бабочка»...

Ночь скучная. Когда Бабушка спит, играть с ней нельзя, нельзя даже ее трогать: если ее разбудить, то она станет злая-злая и может даже больно и звонко шлепнуть Милу по голой попе. А Миле почему-то именно ночью не хочется спать. Она выпрастывает голову из-под одеяла и с тоской смотрит на недоступных бабочек, мчащихся в квадратике открытой форточки. Бойко и ритмично щелкает большая, злобная круглая штука под названием «будильник» – Мила его ненавидит и все время норовит бросить на пол, но в Бабушкином присутствии этого делать нельзя: сразу получишь «по попе». Зато когда Бабушки нет в комнате и Мила сталкивается взглядом с хищной мордой будильника, она с наслаждением швыряет его на пол и топчет, топчет – а он все не замолкает. После этого главное – успеть отбежать подальше и как ни в чем не бывало усесться в кресло перед телевизором, чтобы Бабушка не знала, что это Мила скинула противную штуковину, а подумала бы, что она сама спрыгнула на пол... Но та все равно откуда-то знает, что произошло, как будто стояла рядом и все видела. Мила совершенно не понимает, как такое возможно!

– Ы!-а! – кричит она. – Ы!-э! – ей хочется сказать, что это не она, не она, но, как всегда, стоит раскрыть рот – и оттуда вместо таких

понятных ей человеческих слов вырываются странные гортанные звуки.

– Не ты, говоришь? – отлично понимает ее Бабушка. – А кто еще, интересно? Вот я тебе сейчас...

Мила стыдливо отворачивает голову, и женщина сразу смягчается:

– Ах ты, бедная моя девочка... И чем только тебе мой будильник не угодил?

Ее теплая ладонь ложится Миле на лоб:

– И какая же ты всегда горячая... Надо будет опять врачу показать тебя и спросить – нормально ли это? И ведь вроде здоровая... Бегаешь вон дай Бог каждому...

Ночь тягостная. Звуки ее одновременно приманчивы и враждебны. Тысячи шорохов, стуков, вздохов, колебаний воздуха – все это слышит Мила, ведь она не умеет только говорить, зато все остальное делает лучше многих! Ей тревожно, сладко, мучительно, словно откуда-то доносится соблазнительный дремучий зов – пойти бы ему навстречу, но куда, куда? Да и страшно, тесно где-то внутри... Мила боязливо заползает обратно под одеяло, приваливается к теплому Бабушкиному боку. Тут безопасно, родной запах обволакивает чуткие ноздри... Спит Мила. Сладко спит, пока опят не приходит этот... которого зовут День.

Они с Бабушкой не всегда бывают только вдвоем. Иногда приходят другие Бабушки, и тогда все сидят за столом, едят, пьют и разговаривают. Мила тоже сидит за столом со всеми, у нее есть свой личный стул, который никто не трогает, – она внимательно слушает, стараясь уловить смысл слов: не опасно ли что-нибудь для нее? А может быть, наоборот, – хорошо? Другие Бабушки тоже иногда к ней обращаются, в основном, предлагая что-то съесть, и Мила иногда соглашается, а иногда – нет, по настроению. Но ни одна из Бабушек, кроме ее собственной, ее не любит – это очень понятно. Да они этого и скрывать не собираются! Вот одна – от нее нестерпимо несет цветами, почти как от огромного красно-

Милая Мила

го веника, который однажды принес Бабушке ее Друг (который вообще-то хороший, но в тот раз Миле было не продышаться – даже все остальные запахи надолго пропали) – так вот, эта чужая Бабушка спрашивает Бабушку настоящую:

– Слушай, зачем она тебе? – и откровенно показывает на Милу.
– Такой ужас...

– Действительно, – поддерживают ее другая. – Ради чего ты ее взяла?

– Очень жалко стало... – тихо говорит Милина Бабушка. – От нее племянница моя отказалась. Мужика себе нашла, а он ей – вот как ты сейчас: «Какой ужас!» Говорит, мол, либо она, либо я... В какой-то там приют ее сдать хотели... А я как в глаза ей посмотрела... Ей два годика тогда было уже, и такая домашняя... Ну как ее в приют! Совсем с ума посходили люди! Не позволила сдать – и ни разу не пожалела... Говорю ей: пойдешь ко мне жить? Буду твоей бабушкой... Уход за ней минимальный... Ну, шарахаются некоторые с непривычки... А потом – ничего... Привыкаешь ведь. Мы большие друзья, да, Мила?

– Кстати, насчет глаз – это правда, – неожиданно соглашается до того молчавшая самая маленькая Бабушка. – Просто васильки! И разрез такой красивый... Если б не всё остальное...

– Бр-р... Я лично никогда не привыкну, – упорствует та Бабушка, что вонючая. – Хотя она у тебя уже сколько? Лет семь, кажется? Ну, тогда недолго осталось – такие ведь, наверное, много не живут?

– Еще как живут! При хорошем уходе! – испуганно восклицает настоящая Бабушка, прижимая Милу к себе. – Не слушай ее, не слушай, хорошо? Ты проживешь еще долго-долго, ясно? Мы всегда будем с тобой вместе... – и к подруге: – Хоть бы при ней помолчала! Она же все понимает! И теперь начнет мучиться!..

– Иди ты! – принужденно смеется та. – Понимает... Какие у нее мозги... Она даже не понимает, что такое жить... А уж умереть... – и машет огромной рукой с длинными коричневыми когтями.

Напрасно она так думает. Мила прекрасно знает, что такое жить. Это когда ты просто есть. И рядом – Бабушка. И приходит День. Творог со сметанкой на тарелочке... Смешные непоседливые пятнышки на спинке кресла – ты пытаешься их поймать, но они всегда убегают. И еще ты обнимаешь Бабушку, когда вы вместе смотрите телевизор – это такое окошко в коробке, где все мелькает, мелькает... Интересно... Жить – это еще когда пахнет курочкой и тебе сейчас дадут попить теплого бульону... А потом День куда-то уходит и вместо него откуда-то появляется Ночь. И это тоже неплохо, только по-другому. Это тоже – жить. Волноваться. Хотеть чего-то непонятного. То проваливаться во тьму, то выныривать туда, где ровно дышит Бабушка и летят белые бабочки... Однажды вынырнуть – и увидеть, что День уже пришел... Без тебя. А умереть – это, наверное, просто не вернуться из тьмы... Нет, Мила хочет всегда возвращаться... Она обязательно будет возвращаться... Тьма никогда не возьмет ее себе навсегда. Ни ее, ни Бабушку...

Тот дворик, что только и виден из двух их с Бабушкой окон – кухонного и комнатного – очень маленький, даже Мила это понимает. «Наш колодец», – называет его Бабушка, а вот что такое колодец – не объясняет. Кругом высокие желтоватые стены, а посередине – будто бы диван, только жесткий (Мила однажды сбежала из дома через окно и попробовала на ощупь). Это – скамья; хотя у нее и есть крепкие ноги, она никогда не бегает, всегда неподвижно стоит под огромным кривым деревом. А дерево это очень красивое. И умное. Гораздо умнее Милы. Та относится к нему с уважением и, когда окно в теплое время совсем открыто, пытается крикнуть во весь голос: «Эй, дерево! Слышишь меня? Я – Мила!» «Э-о-о! – вылетает из ее груди. – Э-э-а! А-ми-а!» Дерево не понимает Милу, но иногда машет ей своими мохнатыми руками. У него много рук, и всеми руками оно то ли приветствует Милу, то ли хочет схватить ее и съесть, и тогда становится шумно

Милая Мила

и страшно...

На другой стороне двора в желтой стене – два маленьких окошка. Когда приходит День – они темные, а если Ночь – светлые.

– Видишь те окна? – указывает иногда Бабушка, стоя рядом с Милой и глядя вместе с ней во двор. – Там живет наш с тобой Дима. Мой друг. Вон, вон его тень мелькает за занавеской!

Мила высвобождается. Она всегда так делает, когда совсем не верит в то, что говорит Бабушка. Когда ей абсолютно ясно, что такого не может быть. Например, те окна такие крошечные, а Друг – он же Дима – такой большой. Как он может поместиться в маленькое окошко? Вот она, Мила, сегодня хотела забраться в шкафчик на кухне – и не поместилась. А шкафчик-то ведь больше окошка!

– В том доме, за теми окнами, тоже есть небольшая квартира, – толковывает ей Бабушка. – Почти как наша с тобой, Мила. Только у нас одна комната, а там – две. Дима в них живет со своим внуком. Вернее, не со своим, а своей покойной жены. И они так плохо живут, Мила, – ты не представляешь... Он такой нехороший юноша, этот его Юрка! Так обижает моего Диму, так обижает... Ах, Мила, Мила, ничего-то ты не понимаешь, ничего не ответишь мне, не посоветуешь... А надо ведь что-то делать... Что делать-то, Мила?

Мила видит, что Бабушка расстроена, от всей души хочет ее развеселить, показать, что не нужен им никакой Друг и дела нет ни до какого непонятного плохого «юноши», им вдвоем так тепло и сытно, а когда Друг приходит – он столько съедает, что вдруг потом им с Бабушкой не хватит еды? И не будет ни творога, ни сметанки, ни курочки, ни тушеной рыбки? Но как донести это до нее, до глупой? Зачем она все время кормит ненасытного Диму, от которого пахнет... Ах, как странно пахнет от него! Когда Мила осторожно подойдет и прижмется к его плечу, то запах – нюхала бы и нюхала! Хочется головой тереться – если б только он позволял!

Зато когда вытащит вдруг свою противную игрушку... Мила прекрасно знает это мерзкое слово: «Опять ты за сигарету! – кричит Другу Бабушка. – Только в ее сторону дымить не вздумай: ты же просто убиваешь этим девочку!» Друг послушно выпускает вбок одну за другой тугие серые струи, но Миле все равно становится тошно и мутно, она отсаживается как можно дальше от них обоих, но совсем уходить не хочет – слушает... Она откуда-то знает, что Бабушке очень нужен этот Друг. Может быть, даже больше, чем она, Мила... И если он ей однажды скажет: «Или она, или я»... Но он не скажет, чувствует Мила.

– А она у тебя, кстати, не такая уж и глупая... – однажды замечает Дима. – Взгляд, между прочем, почти осмысленный... Ну, страшенькая... Но ведь не совсем же до безобразия... Вон какие глаза красивые – надо только разглядеть... И что лысая – тоже можно привыкнуть... Мы ведь подружимся с тобой, Мила, да?

«Если ты не будешь есть столько курочки», – хочет ответить Мила, но молчит, потому что уже знает, что у нее это не получится. Ну ладно, пока у них есть еда: «Переводы меня кормят, не жалуясь», – со смехом говорит иногда Бабушка. Ага, сейчас кормят, а потом передумают и перестанут. Лично Мила никогда не видела этих Переводов. Наверное, они приходят и дают Бабушке еду, когда Мила спит. А вдруг однажды не придут? Или они будут приходить и кормить ее всегда, как приходят День и Ночь?

Тянется ночь, тянется... Спит Мила и не спит... Но там, где кружат белые бабочки, становится неуловимо светлее. Значит, к ним опять идет День...

Последнее время он остается надолго, он почти всегда здесь, а Ночь... Она стала какая-то странная, почти не темная. Мила узнает, что она пришла, только когда Бабушка говорит: «Ну, все Мила, спать пора. Видишь – давно уж ночь на дворе». Мила тотчас подбегает к окну и осматривает двор: нет Ночи. День кругом, только другой... Непонятный: звуки, запахи и чувства, как когда Ночь, а по виду – День. Тогда Миле становится так беспокойно, что спать

Милая Мила

она не может вовсе. Только дождется, пока громко задышит рядом Бабушка, – и украдкой выбирается из постели. До утра она бесшумно бродит по квартире – прислушивается и тайно страдает. Ей хочется, чтобы все встало на свои места. Она ждет, не придет ли настоящий, знакомый День, а не этот, который только притворяется Ночью...

Зато когда долгожданный длинный День здесь, Мила часто остается одна. Бабушка снимает с себя легкий пестрый халат, который носит дома, если никто, кроме Дня, к ним не приходит. (Мила знает это слово, потому что, когда ей иногда хочется особенно приласкаться и она буквально повисает на Бабушке от любви, та испуганно кричит: «Осторожно! Халат мой порвешь!»). Сняв халат, женщина надевает красивые гладкие платья («Как тебе мое платье, Мила?» – и готово: еще одно слово поселилось в голове у Милы навсегда). Потом Бабушка исчезает, оставляя Миле попить молока для утешения и выключая «верхний» свет. Она знает, что с Милой без нее ничего плохого не случится, Мила будет тихая-тихая, никогда не набедокурит, когда одна в квартире, а сразу ляжет спать. Иногда встанет, попьет молочка – и опять спит, пока не придет Бабушка. Она не знает – долго ли спит; иногда Ночь, похожая на день, приходит раньше Бабушки, а иногда – нет. Но услышав, как открывается дверь, Мила вмиг просыпается и легко соскакивает с дивана. Она мчится в прихожую, подпрыгивает высоко, как только может, стараясь дотянуться до Бабушкиного лица, поцеловать ее покрепче, обхватить, прижать к себе... Мила не бывает точно уверена, вернется ли Бабушка вообще, но, когда это происходит, счастью ее нет предела...

– Только не висни на мне, пока я не надену халат! – сердито кричит Бабушка, отталкивая Милу. – Это платье – из бутика! Ты даже не представляешь, сколько я за компьютером горбатилась, чтоб его купить!

Про компьютер Мила прекрасно знает – это такой маленький не то телевизор, не то книжка, с которым Бабушка играет дол-

го-долго, щелкает, постукивает, и от этого по его белому окошку бегают черненькие маленькие штучки, которые не позволяется трогать, – а вот про платье уж и вовсе непонятно – что с ним не так? Она недоуменно смотрит бабушке за спину: спина вовсе не горбатая. Это у нее, Милы, горбатая, она много раз слышала, как про нее говорили:

- Смотри, какая горбатая спина! А ноги – длиннущие! Жуть!
- А мне даже нравится! – храбро отвечала тогда Бабушка.
- Не придумывай. Чему тут нравится? – отмахивались от нее.
- Но раз уж ты взяла ее... Вот сама и любуйся...

Бабушка надевает такой знакомый, пахнувший ими обеими халат – и только тогда позволяет обнять себя. Она осторожно похлопывает Милу по боку, сидя на диване, и тихонько рассказывает ей:

- Знаешь, где мы с Димой были? На выставке...

Мила сердито трясет головой: ей непонятно – на чем они были? Она знает, что такое – «на диване», «на столе», «на подоконнике»... А вот – «на выставке»? Получалось, что Бабушка и ее Друг сидели или стояли на чем-то, чего Мила не могла даже вообразить, – и это ее сердило.

- Н-ны? – уточняет она.
- Ах да, тебя кормить пора! – спохватывается Бабушка и тотчас встает.

Мила опрометью мчится за ней на кухню, даже забегает вперед от нетерпения: сейчас будет весело и вкусно! Бабушка положит Миле на тарелку теплой вареной телятины, нальет попить... А еще Мила любит сгущенку, Бабушка иногда наполняет ею маленькое блюдечко и говорит:

- Вот хоть и знаю, что вредно тебе, а не могу не побаловать...

Но сегодня нет никакой сгущенки, и телятины тоже нет – Бабушка быстро кладет в Милину тарелку что-то не очень вкусное, жесткое, а себе тарелку не достает, за стол не садится – не получится, значит, поесть с ней за компанию... Мила все равно начи-

Милая Мила

нает быстро и жадно насыщаться – потому что не знает наверняка, удастся ли поесть в следующий раз... Может, этого никогда уже не получится! А бабушка отстраненно стоит у окна, совсем не смотрит на свою девочку, взгляд ее устремлен туда, во двор, где в не черной и не белой ночи только горит далекое маленькое окошко. Она думает, что там ее Друг, и никак не возьмет в толк, что ему туда ну никак, просто никак не поместиться! Бабушка быстро-быстро постукивает по подоконнику своими блестящими маленькими коготками и коротко, тревожно вздыхает.

– Ах, Мила! – наконец-то говорит она. – Нельзя нам дальше бездействовать, надо что-то делать! Ведь он же уморит его! Самым настоящим образом уморит!

Она тихонько стонет, сжав кулаки и припав головой к раме, – и Мила пугается: Бабушке больно?

– Господи! – уже в голос зовет Бабушка. – Хоть Ты подскажи мне, научи, что делать! Ведь Ты-то знаешь, как я люблю его, как хочу помочь – а он такой глупый, такой наивный, как все мужчины! – она спохватывается: – Ой, прости меня, Господи, я не Тебя имела в виду!

Вот это Мила понимает: Бабушка обращается к Кому-то, Кто главнее ее, Кого не видно и не слышно, но Сам Он всех видит и слышит – всегда. Его можно только чувствовать, но не все это умеют. Бабушка – умеет. И Мила тоже. Даже лучше, чем Бабушка. Только она не может Его ни о чем попросить, но ей это и не нужно, в отличие от Бабушки. Потому что Мила убеждена: ты Его еще и не попросишь, а он уже и Сам знает, чего ты хочешь. Только не всегда дает. Но Ему виднее. И с Ним не поспоришь. Не то что с Бабушкой...

А та сжимает голову обеими руками и замолкает, изредка всхлипывая. Мила давно уже оставила свою тарелку и стоит рядом, изо всех сил прижимая голову к ее плечу:

– М-м... М-м... – утешает она. – Уни-и-и... Уни-и-и...

– Звони? – переспрашивает Бабушка, серьезно глядя на Милу.

– Молодчина. Всегда подашь хорошую идею...

Она стремительно идет к телефону, Мила – трусцой – за ней. Вот еще одна вещичка, которую ей никак не постигнуть. Держит человек такую маленькую коробочку около уха и говорит, говорит... Никого перед ним нет, а он отвечает, как будто кто-то что-то спрашивает... Странно... Это называется «позвонить» ему или ей. Вот Мила никогда никому не звонит. И ей тоже. А вдруг однажды позвонят? Как она будет разговаривать, если не умеет? Она пристально смотрит на Бабушку и ловит каждое ее слово:

– Вот, Мила посоветовала позвонить тебе... Ты улыбнулся?... Да, я специально сказала так, чтобы ты там улыбнулся... На самом деле я хотела тебя спросить... Тебе случайно не нужно о чем-нибудь со мной поговорить? Я имею в виду – о важном... О самом важном... Нет, не по телефону... – она долго молчит, но Мила не мешает, понимая, что Бабушка слушает. – Конечно, можно... – наконец, говорит Бабушка. – Ну какое там сплю... Ты ведь отлично знаешь, что мой рабочий день в это время только начинается... Приходи сейчас, я жду, очень жду!

День? Мила с сомнением смотрит на окно: давно уже пришла Ночь. Правда, похожая на День, но все-таки Ночь. А когда она приходит, то в доме никогда никто не появляется. Может быть, Бабушка ошиблась? Или она, Мила? А может кроме Ночи прийти кто-то еще?

И правда, скоро появляется Друг. Мила встревожена нарушением обычного порядка вещей, бежит из кухни в комнату и обратно, вопросительно смотрит то на Бабушку, то на Друга – но явно не до нее:

– Если не хочешь ложиться спать, – на ходу бросает ей Бабушка, – то просто сядь и сиди тихо, не мешайся тут...

Но ничто не может заставить Милу уйти в комнату и покорно забраться под их с Бабушкой одеяло. Она остается на кухне и, как ей велено, устраивается на своем собственном стуле с мягким ковриком, сидит прямо и, вытянув длинную розовую шею,



напряженно смотрит на обоих людей за столом. Они пьют ужасную гадость под названием «кофе» – Мила один раз тайком попробовала из бабушкиной кружки, так потом никакая вода не могла смыть мерзкую горечь! – а Друг еще и пускает вонючие серые струи дыма. Без перерыва! И Бабушка не просит его не пускать свой дым в сторону девочки! Но Мила все равно не сердится на Друга. Она откуда-то знает, что он хороший, и от него иногда приятно пахнет, и он один умеет погладить Милу по ее лысой голове так, что ей это нравится, не хочется голову отдернуть, а его – ударить, как некоторых... У него белые волосы на голове и лице, низкий успокаивающий голос... С ним Миле уютно. И Бабушке, наверное, тоже. На ней уже нет яркого халата, а есть платье – такое, не красное, а немножко потемнее... Мила не очень разбирается в цветах. Они все для нее похожи, кроме белого, серого, желтого и красного... Ну, еще она немножко отличает синий – такого цвета дерево во дворе и еще небо иногда... «Смотри, какое небо сегодня синее!» – сказала когда-то Бабушка, показав вверх за окно, – и Мила поняла и запомнила. А волосы у Бабушки не пойми какие – темнее Дня и светлее Ночи; это все что знает про них Мила, но ей очень нравится...

– Ты еще совсем молодая женщина, – грустно говорит между тем Друг. – Тебе и пятидесяти, кажется, нет... Ведь нет? Есть? Никогда бы не подумал... Ты яркая, эффектная... Талантливый переводчик... Самодостаточная... На что я тебе сдался, скажи на милость? Ты ведь через год локти себе кусать начнешь... А меня вообще возненавидишь... Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Да я пень старый – в отцы тебе гожусь! И нищий, кстати... Всю жизнь – «кушать подано», пенсия минимальная... Сейчас вот эпизод в сериале обещали – так от счастья покраснел на кастинге, как мальчишка!

«Кушать подано» – это Мила понимает очень хорошо! Так говорит Бабушка, ставя перед ней полную тарелку, когда бывает в хорошем настроении. Девочка вздрагивает, но своей тарелки

Милая Мила

нигде не видит: наверное, опять что-то не так расслышала!

– Я тебя люблю и никогда не возненавижу, – отвечает Бабушка, и голос ее дрожит. – И мне все равно, сколько тебе лет. Я хочу жить и умереть с тобой, всего хочу с тобой... Но у меня сердце разрывается каждый вечер, когда я ложусь здесь спать в безопасности и думаю, что ты там в одной квартире с чокнутым наркоманом и тебе некуда деться! Что он в любой момент может просто зарезать тебя – и даже не понять, что натворил!

– «Всего» со мной может и не получиться... – мрачно произносит Друг и делает большой глоток их ужасного кофе. – Машинка моя – того... Не очень уже и работает... А тебе еще нужно – в твоём возрасте...

Ну, положим, машинка, у них с Бабушкой есть и своя, думает Мила, – обойдемся. Большая, белая, с круглым окошком, которое открывается, чтобы можно было запихнуть туда разные тряпочки. А потом тряпочки крутятся там со страшным воем и шумом, Миле немножко боязно, но она все равно стоит прямо перед окошком и упорно смотрит на мелькание тряпок, напрягшись всем телом и готовая сразу убежать, если машинка вдруг сорвется с места и поскочит по коридору. «Расшалилась наша машинка... – смеется тогда Бабушка. – Что, Мила, страшно тебе?»

Но сейчас она не смеется, а робко улыбается Другу:

– Ничего, я почию ее, машинку твою... А если и не почию – невелика беда... Главное, что кончится этот твой ежедневный кошмар... А он там пусть как хочет... Кстати, на расстоянии бороться с ним легче – найдем управу, будь спокоен! И выселить его можно через суд, и на принудительное лечение пристроить... Главное – вдвоем... Слышишь, Дима? Да ответь же ты что-нибудь, не мучь меня!

Дима поднимает голову и пристально, словно бы с последним колебанием, смотрит на собеседницу – Мила улавливает то, чего не понимает Бабушка: он хочет ей что-то сказать, но боится...

– Он убьет тебя когда-нибудь, понимаешь – у-бьет!

– Убьет, говоришь? – усмехается Друг и делает это как-то так неуютно, что Мила съеживается от его голоса и взгляда. – Может, и правильно сделает. Вот послушай, чувствительная ты моя, расскажу я тебе одну историю...

Глупости, думает Мила. Друг же не комар, чтоб его можно было так легко убить – вон какой большой! Убить – это когда ты его – хлоп! – и он не шевелится больше и не живет... И Бабушка так поступает с комарами, и она, Мила... Убить легко. Но только если тот, кого ты убиваешь, – очень маленький. Чтобы убить Друга, нужен кто-то настолько большой, что и не представить... Мила начинает задремывать, голову клонит вниз, жмурятся глаза... Голос Друга гудит, как далекий шмель, – такой, как залетел однажды к ним в комнату через окно – а Бабушка поймала его в полотенце и выпустила...

Мила и слушает, и дремлет – все равно ей ничего, ничего не понять...

– Как могу я строго судить этого охламона, когда сам... Знаешь, тому уже больше полувека – а будто вчера... Мать снимала нам с сестрой дачу у залива, на южном берегу... Это сейчас там гнилое болото, а тогда ведь о дамбе и не слыхал никто... И вода была, как хрусталь, – представляешь, захожу в воду по горло и отчетливо вижу собственные ноги и разноцветные камушки на рябом песке... Островок там имелся – метрах так в пятистах от берега, а у хозяина – лодка, за судаком ходить... Сынок его, одногодок мой и приятель, лихо с ней управлялся, так что ходили мы, бывало, аж до самого Кронштадта. Чуть не утонули вместе однажды – ну да это уже другая история... А сейчас я тебе рассказываю совсем не о том, а об одной нашей забаве, почти безобидной... До поры до времени...

– По крайней мере, колеса вы, я думаю, не глотали... – вставляет Бабушка (Мила озадаченно приоткрывает один глаз: она прекрасно знает, что такое колеса. Это такие круглые черные штуки, что крутятся под маленьким столиком, за которым Бабушка пьет

Милая Мила

кофе, когда одна; конечно, Друг их не глотал – они бы даже в рот ему не поместились). – И не кололись...

А вот Мила укололась однажды – ужасно! Наступила на что-то на полу, и вдруг все тело пронзила острая, яркая боль! А как Бабушка тогда испугалась, даже закричала! Все обнимала, целовала жалобно стонущую Милу и приговаривала: «Ах ты, девочка, девчоночка моя бедная! Синеглазка! Что ж ты укололась-то так сильно! Это я виновата, прости меня, глупую: уронила кнопку и не заметила!» Конечно, она теперь переживает, чтобы и с Другом ее такого не случилось...

– Лучше бы кололись, – неприятно усмехается он. – Может, подошли бы – и вреда от нас никакого...

– Что ты говоришь! – пугается Бабушка. – Мне страшно!

– А я пока ничего и не сказал. Это, Ляля, только присказка была, сказка и не начиналась еще.

Миле тоже страшно, хотя и неясно, отчего. Она уже не спит – слушает, силясь поймать знакомые слова.

– Так вот, о забаве нашей невинной. Ну, почти... Короче, мы познакомились на пляже с приезжими девушками – скажем так, не совсем строгого поведения – то да сё, разговорчики, шуточки... Слово за слово, приглашали покататься на лодке... Те девчонки, что были поприличнее, отказывались плыть с незнакомыми парнями в открытое море, ну, а те, что соглашались, – их уж точно было не жаль... Так вот, привозили мы их на свой островок...

Бабушка вскрикивает, глаза ее округляются – но Друг досадливо машет на нее рукой:

– Да нет, нет – не делай таких больших глаз... Дураки были, конечно, но не до такой же степени! Все по обоюдному согласию... Если какая артачилась, то дальше поцелуев не заходило. Кроме того, я ведь тогда уже в артисты нацелился, красавчик был хоть куда, девки сами на меня кидались, как на сахар... А я и правда ходил на конфету... На этого... Ну, сладкого мальчика из Голливуда. Как его... Склероз, короче... Дожил... Нет, забава

наша в другом состояла. Когда веселье подходило к концу, мы с приятелем моим перемигивались и под каким-нибудь предлогом уходили в кусты – обычно под самым, так сказать, банальным... Ну а там быстро прыгали в лодку – и ходу. А девчонок бросали на острове, в чем были. Однажды удалось унести купальники и девки вообще голяком там остались... Иногда они видели, как мы отплывали, выскакивали на берег, визжали, ругались... Ну а мы в ответ хохотали, конечно, и похабные жесты им делали. Страшного с ними ничего случиться не могло: кругом болтались рыбацьи лодки, и, в конце концов, какая-нибудь их подбирала... Нам это ничем не грозило: о своих похождениях такого рода девушки в те годы предпочитали помалкивать. Рады были, что выбрались, – ну а урок мог и на пользу пойти... Странно подумать – теперь им всем уже под семьдесят... А ты тогда только родилась еще... – он замолкает и надолго задумывается.

Бабушка осторожно дотрагивается до руки Друга:

– Неприятная, конечно, твоя история, Дима... Но ведь в конечном счете это подростковые шалости, не больше... Не стоит так себя из-за них...

Он вскидывается и смотрит на нее в упор, так что Бабушка начинает обиженно моргать, а Мила вся дрожит, хотя взгляд и не ей предназначен: она чувствует, как Другу больно, может быть, даже больнее, чем наступить на кнопку.

– И это, Ляля, представь себе, тоже все еще присказка, – шумно вздохнув, говорит он.

Бабушка хочет что-то сказать – и молчит. Она смотрит на Друга уже с настоящим испугом – таким, что Мила потихоньку сползает с собственного стула и бесшумно перебирается на другой, тот, что стоит прямо рядом с Бабушкиным. Она сразу ощущает рассеянную теплую руку у себя на плече, и ей становится поспокойнее.

– Ты даже Милу напугал, – вымученно улыбается Бабушка. – Говори уж все, раз начал...

– Между прочим, – пристально смотрит на нее Друг, – я давно

Милая Мила

уже подозреваю, что твоя Мила понимает гораздо больше, чем ты ей разрешаешь... Это я так, к слову... Да, ну вот. Привезли мы туда однажды двух девчонок – черненькую и беленькую. И, знаешь, интересные такие девахи попались, неглупые даже, с филфака обе. Поэтому провозились мы с ними дольше, чем с другими, – в качестве прелюдии разные умные разговоры пришлось разговаривать. А и без того не рано было – уж народ с пляжа расходиться стал, волна поднималась, прилив обозначился... Небо заволокло... Хоть бы один из нас мозги включил и сообразил, что лодки-то давно к берегу идут, шторма боятся. Нет, выиграло ретивое... В общем, все как всегда: отпросились «в кустики», к лодке бегом – и на весла... А девчонки и не заметили, кажется: сидели себе на полянке – там полянка такая укромная была, как специально сделанная, – бутерброды, наверно, жевали. И, главное, на берегу уже друган мой смотрит на меня с сомнением да и предлагает – мол, может, смотаемся, заберем их? Дескать, штормит сильно, лодки сегодня могут больше не выйти, тогда нашим шалавам ночевать там придется... А если еще дождь... Но я злой был – на черненькую ту. Такой казалась аппетитной, опытной, глядела многообещающе... А лежала, извиняюсь, бревно бревном... «Ничего, – говорю, – пусть попрыгают. В другой раз умнее будут»... С тем и домой пошли.

– И что... – шепчет Бабушка. – Так никто и не подобрал их?..

– Нет, – хрипло отзывается Друг. – Я бы и не узнал об этом – да и интереса особого не было. Только разговор услышал – случайно, на автобусной остановке, когда мать в Ломоносов на рынок послала. Одна тетка другой рассказывала, что у соседей их – большое несчастье. Приехала внучка из Ленинграда – хорошая такая девушка, Валец звали, в университете училась – да и пошла с подружкой на пляж купаться. А там два каких-то подонка – и носит же земля! – их в лодку заманили и на остров в море отвезли. Хи-хи, ха-ха – да и бросили там одних. Шторм начинался, лодки ни одной не было на воде. До берега дале-

ко – не доплыть, да еще в грозу. Девушки в одних купальниках, плакали, звали – никого; только волны плещут и ветер воет. Так бы, может, и ничего – ну, страху бы натерпелись или простыли в крайнем случае... Да только у Валечки диабет был ужасный – утром и вечером сама себе инсулин колола... Стало ей плохо, а к утру – кома... Пока подружка до помощи докричалась, пока добрали их, пока довели да нашли, откуда «скорую» вызывать, – день уж настал... Так в машине и скончалась, бедняжка... Теперь соседка, вся черная от горя, собирается в Ленинград на похороны внуки... Тут автобус подкатил, тетки уехали, а я как стоял на месте – так и ноги приросли... И ведь, главное, не знал я – и не узнал никогда – откуда! – которая из них была Валечка. Моя или другая... Их звали – Валечка и Алечка – это я хорошо помнил, но какую – как... На острове недосуг было разбираться, а потом... А-а! – Друг машет рукой и замолкает надолго, обхватив свою склоненную над столом белую колючую голову.

Молчит, откинувшись на стуле, и Бабушка. Мила тревожно переводит взгляд с одного на другого, ей жутко, хочется спрятаться – почему? Убежать? А как же Бабушка? Друг внезапно смотрит на нее в упор и зычно рявкает:

– Клянусь – она понимает! Да еще, пожалуй, и получше, чем ты! – он с угрозой, как кажется Миле, оборачивается к Бабушке: – Ну что, трепетная моя? Передумала, небось, меня в сожители звать?

Бабушка ничего не отвечает, но крепко-крепко прижимает Милу к себе, словно они теперь вдвоем – против него, этого совсем не хорошего сегодня Друга...

Он встает:

– Мне пора. Считаю, что я бросил вас с Милой на острове. Ляльку и Милку. Ждите – шторма-то нет: глядишь и подберет кто-нибудь...

Друг с грохотом отталкивает пустой Милин стул, словно живого врага, заступившего путь, и широким шагом направляется

Милая Мила

к двери. Это уже слишком! Мила с жалобным ревом бросается в комнату, ныряет в их с бабушкой постель, прячет голову под подушку... Ничего, ничего... Сейчас Бабушка придет и ляжет рядом, и не нужен им никакой противный Друг, который так страшно гудит и грохочет...

Ночь либо давно ушла, либо в этот раз и вовсе не приходила, а Бабушка и Мила все еще лежат рядышком под одеялом – но нет ни одной из них покоя. В комнате светло, в открытой форточке – светло-синий ломтик неба. Обе бодрствуют, не могут найти себе удобного места, хотя Мила изо всех сил старается успокоить Бабушку: она то кладет ей голову на плечо, то гладит лицо, то пристраивается у теплого бока... Но Бабушка не обнимает ее, не целует, как обычно, когда Мила ласкается, а с досадой отталкивает свою девочку, раздраженно бормоча:

– Спала бы уже. Надоела до смерти, – и добавляет сокрушенно: – Надо же, какой козел. Нет, ну какой козел, а? – она еще немножко ворочается, но вдруг садится и громко, удивленно произносит: – Мила, мне нечем дышать... Совсем нечем! Мила!

Обеими руками, царапая себе шею, Бабушка оттягивает ворот ночной рубашки, громко, бурно тянет в себя воздух и сипло кричит:

– Мила! Задыхаюсь! Что это?! Мила!! А-а!!!

Словно чья-то невидимая огромная рука вырывает ее из постели и бросает к окну. Часто и жутко дыша, Бабушка силится открыть его, но заедает шпингалет – и она начинает сипло выть, дико глядя перед собой и судорожно тряся гремящую раму, – а Мила уже рядом с ней, пытается заглянуть в ее мутные от смертного страха, словно подернутые сизой пленкой, глаза и тоже в запредельном ужасе повторяет:

– Что с тобой?! Что с тобой?! Что с тобой?! – на самом-то деле у нее выходит: «А-ой!! А-ой!!! А-ой!!!»

Но вот окно распахнуто, со двора, уже вполне светлого, врывается тугая волна прохлады – но Бабушке не легче. Она теперь

держится за грудь:

– Да это сердце... Это сердце, Мила... – замирающим шепотом свистит она и вдруг вся тяжелеет, цепляется за подоконник.

Мила не впервые слышит это слово – Бабушка часто говорила раньше, обнимая ее: «Ух и колотится же у тебя сердце, Мила! И как только не выскочит!» – и прижимала теплую ладонь туда, где внутри у Милы трепыхалось что-то маленькое и неустанное, которое всегда играет и бегаёт в ней, даже когда Мила спит... Еще это сердце как-то даёт о себе знать, если Мила чему-то очень радуется – там так сладко-сладко ноет, как будто ешь сгущенку, и так пусто становится, когда обидно...или страшно... Да, Мила очень хорошо понимает, что такое сердце. Она и Бабушкино сердце не раз слышала, когда прижималась к ней: оно стучало ровно, гулко, надёжно... Должно быть, оно такое крупное, горячее... Мила почему-то видит его красным... Но что оно сейчас делает в Бабушке – это большое сердце? А вдруг оно выскочит и – убежит? Что тогда будет? Мила сразу решает, что если сердце сейчас выскочит из Бабушки, то она его поймает. Это просто: хватъ – как бабочку. Но не съест его, а сразу вернет, потому что у нее уже есть внутри одно. Должно быть, она когда-то давно его проглотила...

Но Бабушкиного сердца нигде не видно, а сама она всем телом лежит на подоконнике, и Мила замечает вдруг, что и лицо ее, и губы, и даже глаза – все это точно такое же белое, как и рубашка... Она отталкивается руками от рамы, еле слышно стонет:

– Нет уж, дудки, Мила... Я не умру – так... Одна... Слишком глупо... Не хочу... Не позволю...

Она делает шаг к кровати, шатается, прислоняется к шкафу... Ее надрывное дыхание заполняет всю комнату – Мила бросается на помощь...

– Не путайся под... ногами... дай... дойти... – хрипит Бабушка и делает еще рывок, упирается локтями в спинку кресла...

Там она судорожно переводит дыхание, тянется к тумбочке... Телефон! Она хватает телефон, и ее мотает с ним к двери. Ба-

Милая Мила

бушка ушибается о косяк, но он же и служит ей опорой... Черная коробочка у ее уха...

– Дима... – голос Бабушки не похож на ее собственный, и вообще на человеческий. – Вызывай «скорую»... Мне... Сердце... Сейчас попробую... открыть... Если... не смогу – ломай... – коробочка летит на пол, Мила кидается к ней, оттуда горит белый свет и еще слышны какие-то звуки.

– А-я-а! – громко зовет Мила. – У-и-и! У-и-и!

А Бабушка уже в прихожей, она всем телом прислонилась к входной двери, что-то гремит – и дверь вдруг подается наружу. Бабушка сползает по ней, опускается на колени, руки ее уже там – в той Другой Жизни, куда Миле ходу нет. Там иной цвет и чужой запах, там опасно, оттуда приходят незнакомые люди, к этой двери Миле и подходить запрещено! Но Бабушка стоит на коленях, упираясь ладонями в пол как раз поперек заветного рубежа, голова ее опускается все ниже, ниже, вместо дыхания вырываются слабые всхлипы... Но Мила не убегает. Подвывая от страха, она стоит рядом с Бабушкой и ждет, сама не зная чего...

Но вот поблизости раздаются быстрые шаги и знакомый голос. Это Друг, понимает Мила и отступает в квартиру. Он знает, что делать, сейчас опять все окажется, как прежде... Давай же, Бабушка, вставай, вставай! Но, увидев Друга, Бабушка не поднимается, а, наоборот, падает вниз лицом...

– Ляля-а!!! – басом зовет Друг. – Лялечка, ты чего это?!!

В их маленькой квартирке происходит такое, чего раньше никогда не бывало... Вдруг появляются совсем незнакомые мужчины в синей, как дерево во дворе, одежде, они что-то делают с лежащей на диване Бабушкой, витает страшное, корявое слово «инфаркт», звенит стекло и железо, отвратительные запахи заполняют комнату... Но не это пугает Милу, забившуюся в кресло и всеми позабытую. Ее пугает Тьма... Она не видит ее, но чувствует, как она нависает над Бабушкой, растопыривается уродливым облаком над их безопасным диваном и набухает, набухает чер-

нотой...

– Она выживет? Она выживет? – беспрестанно спрашивает Друг у всех мужчин по очереди.

А они рассеянно отвечают:

– Вроде должна...

И снова звякает железо и стекло, что-то падает на пол, и вдруг раздается Бабушкин короткий мучительный вдох.

– Лялечка, я здесь! – кидается к ней Друг, расталкивая мужчин, но они отстраняют его и мрачно спрашивают Бабушку:

– В больничку поедете?

– Поедет! – поспешно отвечает за нее Друг. – Еще как поедет! А носилки у вас есть?

В комнате оказывается странная узкая кровать на высоких блестящих ногах с колесами, мужчины вместе поднимают Бабушку и кладут сверху. Мила мельком видит ее неузнаваемое маленькое лицо, повернутое к Другу:

– Мила... Ты – Милу... Нужен уход... Кормить... Там, в холодильнике... Ей нельзя одной... Ключи... – шелестит она.

Он машет на Бабушку обеими руками, будто ловит белых бабочек:

- Да разберусь я! Ничего с твоей Милой не сделается! Ты только, ради Бога, не волнуйся! Тебе нельзя волноваться!

И все. Одна Мила. Нет Бабушки. И никого нет. Только День. Но он никогда ничего не говорит.

Друг возвращается нескоро, только когда снова пришла и исчезла короткая, совсем светлая Ночь. Ждала-то Мила, конечно, Бабушку. Она не могла представить себе ее лицо, но в целом образ в голове получался ясный: что-то большое, доброе и родное... Мила положила голову на Бабушкину подушку и так пролежала долго-долго...

Но вот дверь в прихожей кто-то открывает, слышится звяканье ключей... Мила не кидается, как всегда, навстречу, а, наоборот,

Милая Мила

прячется поглубже под одеяло, потому что знает, что это не Бабушка. Точно так же, как раньше, когда бабушка шла домой, Мила узнавала об этом задолго до того, как та подходила к двери. Так, ниоткуда. И было ей радостно.

– Мила! – слышен знакомый голос-шмель. – Где ты прячешься?

Ах вот кто это! Мила выбирается из постели и резво соскакивает с дивана навстречу Другу. Она надеется, что он ее покормит, – и действительно, Дима сразу направляется к холодильнику.

– Вот такие дела у нас с тобой печальные, милая Мила... – говорит он, разрезая ей курочку на куски. – Инфаркт хватил нашу Лялю...

Она поднимает вопросительный взгляд. Лялю? Ах да, этот глупый Друг почему-то так называет Бабушку. Значит, все-таки Инфаркт схватил ее? И унес? И не отпустит? И что делать?! А если взять его и – пор-рвать?!

– Рр-ра? – спрашивает Мила.

– Рад? – усмехается Друг. – Да уж, конечно, теперь даже ты вправе обо мне так думать... И, главное, еще сказал, урод, что бросаю вас на острове... Но, Мила, – я пошутил! Неудачно, разумеется... Почти как тогда... Но хоть ты меня мерзавцем не считай, ладно? Я вот что думаю: ты, хотя и молчишь, но нас как облупленных знаешь... И о каждом имеешь свое особое мнение... На вот, кушай, наголодалась, поди...

Мила опасливо ест, все время прерываясь и оценивающе поглядывая на Друга... Какой он необычный... Вот Бабушка никогда так длинно с ней не говорила... Он тоже откровенно изучает Милу:

– Все-таки страшна ты, конечно, как смертный грех – прости уж меня, старика... Но глаза... Любого за душу возьмут... Надо же, какая синь... Просто сапфиры... А сколько ума в них! И чувства! Только за них по гроб жизни влюбиться можно... Так что понимаю я Ляльку, ох, понимаю... Я вот что, Мила... Я обещал Ляле, что здесь с тобой проживу, пока она не вернется... Могу я надеяться,

что ты меня во сне не прикончишь? Могу, наверное: Лялька говорит, ты не буйная... Да и мне от моего Юрки-наркоши отдохнуть не мешает, а там... Вот отпустят ее из больницы... Звала ведь она меня жить здесь с вами – а я ей... А я ей – инфаркт... Вот такое я дерьмо... Вот такое я дерьмо, милая Мила...

Это слово тоже давно в Милином словаре. «Я не нанималась за тобой дерьмо выгрести!» – кричит Бабушка, когда Миле случается покакать мимо туалета. Она озадаченно смотрит на Друга: какое же он дерьмо? Он человек. И она его почти любит.

– Что, удивляешься моей велеречивости? – спрашивает Дима и гладит Милу большой прохладной ладонью по голове, задевая ее мягкие уши. – Привыкай: я артист – люблю монологи. Хотя... Не так уж и часто за мою карьеру приходилось мне их разучивать. «Что будете заказывать?.. Икорки к водочке не желаете?.. Приятного отдыха... Вашу даму просят к телефону... Прикажете такси вызвать?» – вот тебе, милая Мила, и вся моя нынешняя роль... Так что монологи теперь ты будешь слушать... Раз уж великий мой талант Родине не пригодился...

Мила совсем не против. Ей даже нравится этот гулкий рокот, а пуще него нравится сам Друг. Она чувствует в нем такое же вечное смятение, какое постоянно ощущает в себе, – среди непонятных явлений, шумов, фраз... Она не такая, как окружающие, и он – не такой. В ней – тайна, и в нем тоже... И Бабушка... Которая их одинаково любит и не понимает – тоже одинаково. И которая одинаково им необходима...

Приходящая Ночь постепенно становится похожей на саму себя. Во всяком случае, она все темней и ощутимей. Друг часто появляется позже нее, но, когда кругом День, он почти всегда с Милой. Гудит и рокошет – она привыкла. Иногда они даже едят из одной тарелки. Так даже вкуснее. Спят они тоже вместе, как с Бабушкой, только во сне Друг иногда начинает громко рычать – и тогда Мила бесшумно перепрыгивает через него, забивается в кресло и испуганно смотрит оттуда, пока рычание не прекраща-

Милая Мила

ется. Тогда Мила снова прокрадывается в постель и притуляется за спиной Друга. Она спит и ждет. Даже во сне.

Однажды, когда День давно уже пришел, а Друга все нет и нет, Мила просыпается от странного чувства. Сначала она никак не может вспомнить, что это такое, но внезапно понимает: Бабушка! Это Бабушка! Она близко! Милу будто сдувает с постели, она бросается в прихожую, взад-вперед мечется у двери. Ну, скорей! Скорей! Неужели она ошибается?!

Нет, Мила может ошибиться в чем угодно – только не в этом. За дверью раздаются голоса, звенят ключи...

– Ва-у-фа!!! – визжит Мила и с размаху бросается Бабушке на грудь. – Ва-у-фа!!!

– «Бабушка»? Ты сказала – «бабушка»?! – смеется и плачет та.
– Дима, ты что, тут без меня научил ее говорить?! Ах, деточка, деточка моя...

Они целуются и обнимаются на пороге, а Друг с двумя большими сумками в руках смущенно стоит в сторонке и внимательно на них смотрит... Бабушка, наконец, отстраняет Милу и рассеянно взглядывает на него:

– Туда, в комнату, поставь, я потом разберу... Ну, спасибо тебе...
– голос чуть срывается, но это заметно только Миле. – За Милу...
За все.

Она медленно кивает – и высоко вздергивает подбородок.

– Мне уходить? – говорит Друг.

– Да-да, иди, конечно, – не смотря в его сторону, отвечает Бабушка.

Но Друг почему-то не уходит сразу, а с виноватым видом топчется на коврик у двери. Миле его вообще-то жалко, но сейчас, когда Бабушка вернулась, ей не до него.

– Так я пошел? – зачем-то переспрашивает он, как будто и так непонятно.

Но бабушка не оборачивается.

Их жизнь продолжается как раньше. Нет, наверное, не совсем так, потому что Бабушка теперь не такая, как прежде. Она редко шутит с Милой и сама никогда не бывает веселой. Она теперь не стрекочет бойко, сидя у своего компьютера и гоня маленькие черные штучки по белому, а долго-долго сидит без движения, уставясь в его большое светящееся окно и обхватив голову руками. Когда Мила робко подходит и утыкается носом в Бабушкино плечо, она рассеянно кладет ей на спину ладонь и вздыхает. Иногда Бабушка стоит за белой занавеской на кухне – тоже подолгу, только обязательно выключив перед этим свет. Мила знает: в узкую щелку она смотрит туда, на маленькое яркое окошко Друга. Может быть, он все-таки там? – думает Мила. Но застрял – такой большой в таком крошечном – и теперь не может выбраться, чтобы прийти к ним? Вот застряла же она недавно за диваном и не смогла выйти... Звала, пока Бабушка не пришла на помощь. А то так и стала бы там совсем неживая...

– Дура старая... – шепчет Бабушка, глядя на единственное светлое пятнышко во дворе. – Раскатала губу... Уж и до богадельни недалеко, а туда же...

Она возвращается к компьютеру и какое-то время, сжав губы и став такой строгой с виду, что Мила боится к ней приблизиться, упрямо и яростно щелкает, щелкает, щелкает... Но вдруг щелканье прекращается, и Бабушка с протяжным стоном роняет голову на стол. Мила в ужасе: бабушкино сердце снова хочет убежать?! А Бабушка поднимает голову, и Мила поражена: все ее лицо мокрое! Где она взяла воду?

– Поделом мне, поделом! Вся жизнь моя – никчемная! – громко говорит Бабушка; взгляд ее падает на Милу: – Вот, послушай, послушай! – она смотрит на горящее окно компьютера и протяжно произносит: «Глаза-а Сью-узан зажглись, как две-е голубые звезды-ы. Вильям прибли-изился к ней и заключил ее в пла-аменные объ-а-тья. Бурная стра-ась подхвати-ила их на свое крыло-о – и

Милая Мила

они начали безу-мный танец любви-и...». Здорово, да?! – она вроде бы и смеется, но так, что Миле становится страшно при виде такой неправильной Бабушки; она понимает, что смех – это другое, а тут... тут боль? Или даже что-то больше, чем боль?

– Почти тридцать лет занимаюсь этой чепухой! – кричит-хохочет Бабушка. – С тех пор как иняз закончила! И, представь, мне все завидуют! «Везет же тебе – так удачно вписалась в рынок! И на работу таскаться не надо! Такую нишу захватила, счастливица!» А жизнь-то – псу под хвост! Шелудивому псу! Всё любовнички, любовнички... Один раз могла ребенка родить – не стала, сдрейфила! «Эх ты, – врачаха сказала, – ведь у тебя девочка была...» Сейчас она уже взрослой стала бы... Уж и внуков бы, наверное, мне родила... Приходила бы, навещала старуху... Говорила бы: мама!

– Мм-аа... – силится повторить Мила.

– Вот-вот! – зло смеется Бабушка. – Дожила до девочки, нечего сказать!

Теперь Мила видит, что вода льется прямо у Бабушки из глаз... Что это? Разве так бывает? Вода на кухне, в кране... И в ванной... Откуда она в глазах?

Люди приходят к ним все реже и реже. Часто бывает только одна посторонняя Бабушка – та, что самая маленькая из всех, знакомых Миле. Они с Бабушкой сидят в комнате за низким столиком, пьют, к счастью, не кофе, а что-то светлое, в высоких прозрачных стаканах на длинных ножках.

– Слушай, а тебе после инфаркта не трудно с ней? – показывает она на Милу. – Ну, за ней ведь уход какой-то там нужен, готовка... А ты вон еле двигаешься, да еще переводы на тебя навалились... И вообще... Может, действительно, отдать ее пока?

– Что ты! – пугается Бабушка. – Она мне сейчас больше нужна, чем даже я ей! Без нее я бы уже, наверное, подохла тут, а она меня только и держит... И какой такой особый уход? Она у меня чистоплотная, сама за собой ухаживает... А готовка... Да мы с ней

почти одно и то же едим...

Мила тем временем подозрительно оглядывает Бабушку со всех сторон: где они, эти Переводы, что на нее навалились? Так обычно делает только сама Мила – во сне. «А ну, отодвинься, – отталкивает ее иногда Бабушка. – Ишь, навалилась на меня!» Никого на Бабушке не видно, и она успокаивается, но вдруг вздрагивает, услышав:

– А что этот Дима твой, друг так называемый? Взял и бросил тебя в таком состоянии? Так и «покинул на острове»? Хорош, нечего сказать...

– Не хочу о нем говорить, – Бабушка вяло отставляет стакан. – Не стыковалось. Всё. Проехали.

– Конечно, кому охота оказаться с такой уродицей под одной крышей... – бормочет себе под нос Маленькая Бабушка, неприятно косясь на Милу, когда настоящая Бабушка уходит на кухню за сыром. – Разве только глаза...

Миле тоже дают пахучий кусок вкусного сыра, и она ревниво уходит с ним к окну, взбирается на подоконник и смотрит во двор.

Уныло машет ей многорукое синее дерево под синим же небом среди желтых стен. Кто-то выходит из противоположной стены и идет через двор. Мила подскакивает: это Друг! Отчетливо видна его белая, даже на вид шершавая голова. Мила часто замечает его в последнее время – и каждый раз, проходя мимо нее, он с улыбкой кивает ей. Приостанавливается, грустно смотрит в сторону их квартирки и вздыхает, а потом быстро-быстро исчезает с Милиных глаз. Иногда он, должно быть, что-то произносит; Мила не слышит, но догадывается, что он зовет ее по имени. «Р-ру! – отвечает она всякий раз, утыкаясь носом в стекло. – Рр-уу!»

– Клянусь, Лялька, она говорит «друг!» – смеется Маленькая Бабушка. – Может, он сейчас у тебя под окном стоит и плачет. Ромео хренов...

– Перестань, – морщится Настоящая. – Не смешно.

Милая Мила

В этот раз у Димы в руках большая корзина – точно такая же стоит у Бабушки высоко под потолком, в странной норе под названием «антресоли». Она однажды свалилась оттуда и чуть не зашибла Милу – та едва успела отпрыгнуть, а Бабушка подняла упавшую штуку и отругала: «Надо же, какая мерзкая Корзина – едва не угробила мне Милу!» Мила не понимает, для чего Корзина нужна Другу – такая большая и некрасивая... Она и Бабушке-то ни на что не нужна, просто живет зачем-то на антресолях, и Бабушка ее не гонит, потому что добрая...

Маленькая Бабушка прощается, когда друг со своей Корзиной уже прошел через двор обратно и опять на ходу улыбнулся Миле. В Корзине у него что-то лежало, прикрытое синими листочками... Непонятно... А тем временем Милина Бабушка ложится спать. Раньше она никогда не спала, пока не появится Ночь, а сейчас... Другая, совсем другая стала ее Бабушка. Миле спать не хочется: за окном так ярко, тепло, интересно... Хотя чувствуется, что День уже собирается уходить... А что, если... Она внимательно смотрит на Бабушку: та дышит сильно и ровно, лицо ее спокойное и белое... Тогда Мила на цыпочках, очень тихо, но решительно идет на кухню. Дело вот в чем: Бабушка забыла закрыть там окно. И решетку тоже не задвинула: лила зачем-то воду из чайника на свои цветы в узком деревянном ящике, а потом позвонил в комнате телефон, она оставила все как есть и больше в кухню не вернулась. Значит, можно вылезти во двор и успеть добежать до дерева – давно уже хотелось посмотреть на него поближе и потрогать, если позволит. А то они только машут друг другу, машут – и никакого толку. И вообще посмотреть, что там есть интересного... Вот, например, голуби... «Гуль, гуль, гуль!» – зовет их иногда Бабушка и сыплет за окно крошки. Голубей сразу становится много-много, они давят друг друга во дворе на полу и булькают, как вода в раковине... А Мила неизвестно отчего начинает волноваться, и во рту становится мокро-мокро... Однажды она уже сбежала из дома – но

Бабушка не спала и поймала ее. Вот когда Мила узнала, что такое «получить по попе»! Такой сердитой она бабушку не видела ни до, ни после, а уж как больно было! Но сейчас Бабушка спит, значит, ничего не узнает, а Мила успеет вернуться до того, как она проснется...

Мила – храбрая девочка. Бабушка часто ей это говорит. Храбрые девочки не боятся. Но Миле все-таки не очень уютно. Во дворе странно пахнет: не то приятно, не то противно – ей так сразу не разобраться... Спрыгнуть вниз – не проблема, окно совсем невысоко над полом. Надо же, какой жесткий здесь пол, совсем не такой, как в их квартире... Она опасливо идет прямо к дереву, залезает на скамейку... Подходит и осторожно прикасается к нему подушечками пальчиков, хочет погладить... Но оно холодное и твердое, неприятное на ощупь. Неживое! – понимает Мила. Надо же, а так приветливо махало руками... Слегка разочарованная, она хочет идти дальше – но тут из той желтой стены, в которой обычно исчезает Друг, выходит высокий парень с лохматой головой. Мила не раз уже видела его во дворе – это Ублюдок. Когда Друг еще ходил к ним с Бабушкой, он не раз показывал в окно на парня, быстро идущего через двор, чтобы пропасть все в той же стене: «Опять, кажется, ширнулся, ублюдок», – говорил Друг и отворачивался от окна. Мила ясно видела на его лице такое же выражение, какое было у бабушки, когда она вытаскивала неживую бабочку у Милы изо рта...

Мила на всякий случай прячется за дерево, потому что ей и близко не надо рассматривать Ублюдка, чтобы понять: он злой. И опасный. Он может сделать так, что она станет неживая – как это дерево. Или та бабочка. Или как она сама делает неживыми комаров. Он садится на скамью и достает откуда-то такую же черную коробочку, как у Бабушки, – телефон. Держит его у щеки и говорит: «Ну где ты? Далеко еще? Он уже чистит свои грибы! Ладно, быстрее давай копытами шевели...» Мила подглядывает из-за дерева и дрожит. Ей хочется убежать, быстро залезть в

Милая Мила

свое окно и смотреть уже оттуда, из недосягаемого места, – но страшно показаться Ублюдку: вдруг он успеет схватить ее? А Ублюдок тоже дрожит: дрожит его большая нога, закинутая на другую, дрожат руки на спинке скамьи, дрожат большие синие губы... Неужели ему холодно? Кругом ведь так тепло – даже для Милы, которая обычно мерзнет! Но во дворе откуда-то появляется незнакомая женщина – не из Бабушек, молодая. Такая, как Ублюдок. Озираясь, словно ожидая, что кто-то на нее набросится, она быстро идет к скамье – и Ублюдок вскакивает ей навстречу.

– Принесла? – отрывисто спрашивает он. – Дай сюда!

Мила хорошо знает это слово («А что я тебе принесла, девочка моя! Смотри, какая вкусняшка!»), оно всегда означает что-то очень вкусное в руке у Бабушки. Неудивительно, что Ублюдок с таким нетерпением кидается к Женщине. Миле хочется увидеть, чем она его сейчас угостит, – она почти вся высовывается из-за дерева. Женщина отшатывается и вскрикивает:

– Это еще что за каракатица?!

Ублюдок нетерпеливо отмахивается:

– Не обращай внимания. Она ничего не сделает. Безобидная и тупая, как пробка. Только выть умеет гнусным голосом – и все. Именно из той квартиры, куда мой лох полгода пробегал. Я уж надеялся, что та баба его к себе заберет. Как бы не так – отшила по полной... Сидит он теперь на кухне, курит и страдает... Юный Вертер, блин... Смотреть противно. Ну, показывай!

Женщина протягивает Ублюдку что-то маленькое и белое. Приглядевшись, Мила с удивлением понимает что это – гриб. Похожий на те, что приносит иногда домой бабушка в прозрачных коробках, готовит на сковородке и ест горячими. Мила один раз попробовала («Это гриб, Мила, но тебе, наверное, не понравится», – и точно, не понравился). Вкуса никакого. И запах отвратительный.

– Чуть не чокнулась, пока по лесу моталась. Думала, не найду

уж – редкость все же большая в наших широтах, – рассказывает Женщина. – Плюнула было, домой собралась не солоно хлебавши и тут смотрю – растет себе... Как на картинке в справочнике грибника: аманита фаллоидес.

– Чего? – удивляется Ублюдок; Миле тоже непонятно.

– Бледная поганка. Как и обещала. Одним грибом целую свадьбу угрохать можно, а не то что одного старпёра, – гордо говорит его знакомая.

– На вкус – точно не горькая? – деловито спрашивает Ублюдок.

– Точно. У нее вообще нет ни вкуса, ни запаха. И, когда ее съедешь, поначалу кажется, что у тебя только легкое несварение желудка, поэтому к врачу никто не обращается. А зря. Потому что второй – и последний – раунд начинается через несколько дней, когда спасти человека уже нельзя. Почки, печень – все разом накрывается. Белая Смерть – в чистом виде. Покруче герыча! А если сам собирал и сам готовил... Какое тут убийство... Любой ошибиться может. Никто не застрахован. Кушайте, дедушка Дима, лучший наш друг... И хватит, наконец, вонять на нашей площади...

Мила вздрагивает: Дима, Друг... Так это ему, выходит, принесли гриб, чтобы угостить? Эта Женщина так любит его, что носит вкусняшки? Мила бесшумно крадется вдоль скамейки, чтобы получше рассмотреть гриб: вдруг действительно вкусный, и ей перепадет от него кусочек? Хоть самый маленький!

И тут она словно натывается на стену. Она не видит ничего нового, но ее будто прошивает насквозь противная тягучая дрожь. Тьма – вот что это. Бесформенная, безжалостная, она невидимо зависла над этими двумя, что шепчутся на скамейке, не чувствуя ее. Точно такая же, как висела тогда над Бабушкой, когда сердце ее почти выскочило... А выходит она из маленького белого гриба, с которым они что-то делают... Тьма растет, растет, накрывает их, вот-вот дотянется до нее, Милы... Проглотит всех

Милая Мила

– и ее, и Ублюдка с его Женщиной, и Друга, и Бабушку... Но они совсем ничего на замечают:

– Я не хотел до такого доводить, вот этой дозой клянусь! – шепчет Ублюдок, быстро показывая Женщине что-то маленькое и блестящее.

– Тогда точно верю, – легонько усмехается та, внимательно на него глядя.

– Но сколько ж можно! – горячится Ублюдок. – Поселился в чужой квартире и живет, живет... И в ус не дует! А ведь он мне – посторонний! Бабка когда-то вышла за него и сдуру прописала – свою квартиру он, видите ли, первой жене оставил из благородства... А я здесь с младенчества прописан, между прочим! Потом бабка возьми да помри в одну минуту – а он нет чтобы убраться! Если б благородный был – так бы и сделал! Впаривает мне: куда, мол, я пойду – в подвал? А мне-то какое дело! За тридцатник перевалило, а все у родаков тусоваться должен?! Вот и мечусь меж двух квартир, как придурочный. Ни тебе ширнуться нормально, ни кирнуть, ни с шоблой посидеть по-человечески... Ни с бабой поселиться... Надоело! Надоело! Надоело! – взвизгивает он тонким противным голосом, а по лицу у него бежит вода, как недавно у бабушки.

Женщина хватает Ублюдка за локти, мгновенно сует ему что-то в рот:

– На, проглоти. Иначе руки трястись будут. И давай, отправляйся уже – чуешь, как грибами с луком из окна тянет? Значит, тушит их вовсю... Только тихо, смотри не буянь там хоть сегодня. На кухню к нему спокойно зайди – вроде воды попить. Он тебя терпеть не может и сразу уберется... А ты очень быстро поднимаешь крышку и бросаешь в сковороду кусочки поганки. И главное – не забудь, понял? – руки сразу вымой средством для посуды! Чтоб скрипели, ясно? Не то оближешь их, сдохнешь – и никакого тебе больше ширялова. И кира тоже. Дотумкал, горе мое? Повтори!

– Что я – конченный?! Простых вещей не секу?! – истерично возмущается Ублюдок. – Лапы убери от меня, невеста!

– Да, невеста! – с нажимом говорит она. – Обещал расписаться – значит, распишешься. Долг платежом красен. Откуда ты знаешь, может, я тоже хочу в замужних дамах походить, как твоя бабка на старости лет... Шучу. Лети давай, сокол.

Они расходятся в разные стороны – Женщина бросается в какую-то щель между высокими стенами – и нет ее; Ублюдок исчезает там же, где раньше пропал и Друг. Тьма еще немножко висит над скамейкой, словно раздумывает, а потом незаметно тянется вослед...

Мила одна во дворе. И сердце ее, кажется, сейчас выскочит и убежит – как собиралось и не сделало Бабушкино... Бабушка! Вдруг она уже проснулась и увидела, что Милы нет?! Тогда уж «по попе» не избежать – проверено... Мила оборачивается на свое настезь распахнутое окно – странно! Окно теперь, кажется, сильно уменьшилось – как она пролезет в него, когда будет возвращаться? А окно Друга, наоборот, выросло – может, заглянуть туда? Оно тоже открыто, а решетки и вовсе нет... Мила вертит головой туда-сюда, не зная, на что подвигнуться... Вдруг она опять замирает и вся холодеет: снова эта Тьма! Ее, как обычно, не видно, но Мила знает: она там, за окном Друга! И стала еще плотнее и гуще, чем когда висела во дворе. Тьма пришла за Другом, отчетливо понимает Мила в какой-то момент. Пришла и заберет – вместо Бабушки, ведь ее-то забрать не удалось! Тьме помешать нельзя – она такая. Она обхватит Друга черными лапами и вытащит из него что-то важное, без чего он станет неживой. Как комары. Как дерево. Как бабочка. Как вон тот голубь, что валяется под ближней стеной... И Друг больше не станет ходить через двор со своей большой белой головой и улыбаться Миле... Мила такая маленькая, глупая и некрасивая – что она может против Тьмы? Надо бежать домой, прижаться к Бабушке – и все снова станет хорошо... Но Мила решитель-

Милая Мила

но поворачивает к окну Друга. Вот оно какое, оказывается, громадное! Теперь понятно, как Друг туда помещается. И забраться легче легкого. Только Мила хочет подпрыгнуть, чтобы уцепиться за подоконник, как рядом что-то грохочет, и она в ужасе прижимается к стене. Это опять Ублюдок. Ах вот откуда он взялся! В стене, оказывается, тоже есть дверь! Но напрасно Мила так пугается – Ублюдок даже не смотрит в ее сторону. Обдав ее химическим смрадом, он наискось мчится через двор и пропадает. Отлично, путь открыт! Прыжок – зацепиться – подтянуться... Еще легче, чем казалось, – и вот Мила уже на подоконнике, осторожно заглядывает внутрь. С первого взгляда ей ясно: это кухня. Почти такая же, как у Бабушки. Этот большой белый ящик – холодильник. А вот и кран с водой. Мила осторожно ступает на стол – и чуть не падает с него: Тьма прямо здесь, рядом! Ее не видно, но она – живая! Она тоже сейчас смотрит на Милу и решает: схватить ее или нет? На миг девочку парализует от ужаса, но сейчас же она вспоминает: Тьма пришла не за ней. Пока не за ней... Злое темное облако висит над большой серой коробкой, что стоит на полу и называется «плита». На плите, как и на такой же Бабушкиной, горит маленький синий огонь, а на нем тихо булькают в глубокой сковороде грибы. Это и проверять не нужно – невкусный запах, хорошо знакомый Миле, заполняет всю кухню... Тьма торжествует. Она как-то связана с этим запахом, чувствует Мила.

Надо ее убить. Как убила бабочку. И могла бы убить голубя. Правда, Тьма гораздо больше – ну и пусть...

Мила больше не думает – она с размаху бросается на сковороду, та с грохотом летит на пол, Мила – на нее. Она поскользывается в склизких кипящих грибах, падает боком в эту зловонную дымящуюся кашу – и тут оскорбленная Тьма нападает сверху. Бежать некуда – дверь закрыта! Мила катается по полу, воет и визжит от нестерпимой боли, о которой даже не знала, что такая бывает, – красная, невероятная! – случайно опирается

о перевернутую сковороду – и этого уже нельзя вынести... Она слабо хрипит последний раз, успевает услышать голос Друга: «Мила, ты?!! Господи!!!» – и Тьма накрывает ее разом...

У Бабушки в комнате светло от длинной рогатой люстры, висящей над круглым столом. У Милы еще саднит все тело, больно пошевелиться – но эту боль уже вполне можно терпеть. Бока, грудь, плечи, ладошки – все туго обмотано какими-то узкими белыми тряпочками, из-под которых струится странный дурманящий запах, и все время хочется содрать их и отбросить в сторону. Но охота сразу пропадает, как только Мила натывается на строгий бабушкин взгляд. Впрочем, строгий он, только когда хочется сорвать тряпки, а так – Бабушка только и делает, что улыбается, хвалит Милу и говорит ей ласковые слова:

– Милая! Умница ты моя! Героиня!

– Красавица наша синеглазая! – подхватывает Друг. – Сколько в тебе грации! Хм... Просто нужно суметь увидеть ...

Он сидит за столом, и Бабушка наливает ему в чашку отвратительный кофе. Ну и пусть. Мила все равно любит их обоих. Она вытягивает шею, осторожно кладет голову на стол, прислушивается и всматривается, иногда щурясь от удовольствия просто видеть их и слышать их голоса.

– Ну, продолжай, продолжай, – теревит Бабушку Друг. – Все-таки дал, значит, показания... И что – вот прямо так и признался? Сам?

– А куда бы он делся, – поводит плечом Бабушка, садится рядом с Другом и берет себе другую чашку. – Сутки без дозы. Тут и... этот... допрос с пристрастием... не нужен.

– И как ты только догадалась отправить на анализ те грибы с полу! Я бы просто выбросил их – и дело с концом, – восхищенно смотрит на нее Друг.

– Ага... И эти сволочи отравили бы тебя в другой раз... – мрачнеет Бабушка. – Видишь ли, я знаю, что Мила моя – не хулиган-

Милая Мила

ка. Она не могла просто так взять и нашкодить – не тот характер. Пусть она не говорит – но мне иногда кажется, что разбирается в этой жизни лучше, чем я... И раз она ни за что не хотела, чтобы ты ел те грибы... Ты же сам говорил – она вопила от боли и ката-лась в них – но не убежала, когда ты открыл дверь! Значит, она знала, что там – опасность, и хотела показать тебе это. А может, видела, как твой Юрка сунул что-то плохое в сковороду... Не допросишь же ее в полиции... А жаль, право... Ну, а потом, когда я позвонила Катьке...

– Я так и не понял, Катька – это которая? Дылда такая, от которой духами французскими разит? – спрашивает Друг.

– Да нет, Дима, – морщится Бабушка. – Какая дылда – та физик-ядерщик. Мы все тут с одного двора и школу вместе окончили... А Катя, наоборот, самая маленькая. Ну, помнишь, мы еще ее весной в Мариинке встретили?

– Это та вот... Дюймовочка в шляпке... Вся в колечках каких-то, бусиках... Пол-ков-ник по-ли-ции? – весь подается вперед Дима. – Ты чего – шутишь, да?

– Нисколечко! – выпрямляется Бабушка. – Больше четверти века оперативной работы. Только последние годы на руководящую должность перевели – тоскует... Раскрытым убийствам счет потеряла. А тут и раскрывать нечего... Экспертиза сразу показала: яд бледной поганки. В том лесопарке, где ты шампиньоны свои собираешь, она отродясь не водилась. Значит, подложили... И шансов у тебя не было. Так что если б не Мила...

Бабушка и Дима дружно поворачивают головы в ее сторону.

– Я опять забыл, – виновато говорит Друг. – Как эта порода называется?

– Сфинкс петерболд. Если по-русски – петербургский лысый сфинкс, – улыбается Бабушка и нежно смотрит на Милу; та благодарно шевелит кончиком своего длинного голого хвоста и настраивает огромные уши-локаторы так, чтобы лучше слышать любимый голос. – «На лицо ужасные, добрые внутри»... Разно-

видность сиамских – а ведь это еще и самые умные кошки в мире!

Друг берет руку Бабушки и подносит к своим губам. А Бабушка склоняется над его колючей белой головой и отважно ее целует.



ПЕСНЯ ТЕПЛА

Наталья Папенко



Молодой взлохмаченный йотун, играясь, размашисто бьет лапой по колесу зимы, и то крутится, весело повизгивая на оси, и все сыплется, сыплется с перекладин мягкий, словно клочки йотунской шерсти, снег и укрывает теплым войлоком простывшую землю. Йотун смотрит, как красное размытое пятно солнца за снеговыми облаками крадется по горизонту и сползает вниз, и луна бледным калачом уже косится с другого конца неба. Оттуда, из города, этого не видно – там от солнца людям достается только несколько часов тусклого света. Не видно и того, как в горах темнеет и из-за камней осторожно выходят те, кто прячется днем, и принохиваются к вечернему морозу. Глядя на них, йотун старается крутить колесо потише, чтобы их следы не совсем занесло и зверьки нашли дорогу домой.

– Хватит - нежности, – ворчит, ворочается старый Имир, и горы едва заметно содрогаются, когда он говорит. – Надо – буран – буран.

Йотун обижается и набрасывает на прячущееся солнце шмат угрюмой тучи, а потом и вовсе закидывает ими полнеба. Луны теперь совсем не видно.

– Завтра будет тебе буран, – и садится между двух гор, и замирает третьей, только черные глаза-пещеры глядят на город. Но и их не видно из-за снегопада.

– Завтра будет буран, – эхом повторяет из кресла Фритьоф, глядя в окно в заволакивающееся тучами небо над горами.

– А ты еще так ничего и не нарисовал, – подхватывает Снорри из-под стола, где постелен теплый ворсистый ковер, и прячет нос поглубже под лапу. Крошечная комнатка жарко натоплена, но Снорри, который умеет находиться одновременно в нескольких местах и временах сразу, знает, что снаружи холодно и будет еще холоднее. От этого ему неуютно.

Фритьоф задумчиво смотрит на него. Из многих примет вер-

Песня тепла

нее всех одна: если с тобой начинает говорить кот, это к тому, что нужно взять телефон и позвонить Семье.

Снорри знает Семью только по голосам. Вот уже несколько лет каждый день Фритьоф, просыпаясь, подобно своему знаменитому тезке преодолевает сотни миль и подобно ему же никак не может достигнуть цели. Его «Фрам» – стариковское сердце в одной упряжке с мыслями – ежедневно мчится на всех парусах, но не к северу, а наоборот, к не открытому еще югу, и обреченно останавливается, не в силах вообразить дочь и внука среди пестрых лоскутов испанских пляжей. Тогда Фритьоф берет телефон, и сотовый оператор рисует воображению талантливые картины, сложенные из голосов, интонаций и звуков на заднем плане. Но все это остаётся лишь хорошо написанными полотнами: ему ли, старому художнику, не знать разницы между искусством и явью. Первое возносит и утешает, вторая – беспощадна. Так, пожалуй, и капитан «Фрама» в бесконечных льдах видел свой Полюс, который не спешил приближаться, игнорируя силу человеческой мечты.

Фритьоф поднимается из кресла, разыскивает телефон под грудой листов картона с набросками, набирает номер и перестаёт существовать здесь и сейчас. Остается только маленькая темноватая комнатка с невысоким потолком, так тесно заставленная разномастной мебелью и картинами, что Снорри отчасти подозревает, почему Фритьоф уже некоторое время ничего не пишет: кажется, поставить готовые работы уже попросту некуда. Каким-то чудом сюда еще помещаются белоснежный востроухий кот и длинноволосый седой старик, который, впрочем, и так занимает немного места, а сейчас отсутствует вовсе.

Чутким ухом Снорри слышит глухой женский голос, перемолотый и искореженный техникой. Голос не радостен, но и не раздражен, в нем слышатся терпеливые, слегка снисходительные интонации. Снорри тоже стар и знает, что такие голоса бывают у уставших людей, смирившихся с неизбежностью говорить одно и

то же каждый день одному и тому же человеку.

– Да все хорошо. Ларс, правда, вчера отравился чем-то в школе. По-моему, никак не может привыкнуть, что стали давать гаспачо на обед.

– С инструктором по плаванию еще не договорились – вчера его так и не застали...

– Не переживай, отравление школьным обедом – это не грипп, уже прошло.

– Не так уж и жарко, меньше слушай, что там по радио говорят. Может, мы привыкли уже, да...

– Кстати, пап, у меня к тебе дело, – и кошачье ухо улавливает совсем другие интонации: это застенчивая просьба, на которую говорящий, как ему кажется, не имеет права из-за обычного равнодушия. – Когда пройдет выставка, можешь отправить часть картин? Я бы нашла им место. У меня тут много знакомых художников и коллекционеров, и все просят северных пейзажей, когда узнают, откуда я и кто ты. Хорошо? А сейчас надо бежать...

Фритьоф кладет трубку, не спеша возвращается с испанских пляжей в свое обиталище и, еще не веря своему счастью, робко улыбается в мебельный хаос. Она еще не знает, – а Снорри снисходительно смотрит на него из-под стола; давно бы мог сказать, – что эти картины он привезет ей сам, как только получит деньги за выставку.

Изначально, правда, планировал везти только себя, но Инге впервые со дня своего переезда в Испанию попросила его о чем-то! – а значит, надо будет поднатужиться и дотащить тяжелые папки с полотнами сначала до такси, потом до здания аэропорта, доплатить за транспортировку хрупкого багажа и все три часа ерзать, переживая за капризные картины. Правда, самих полотен еще нет, а это ставит под сомнение все мероприятие с самого начала. Нет картин – нет выставки – нет денег, а значит, нет и самолета, который вырвет его из темного зимнего Тромсе и перебросит в непонятную, но надрывно зовущую яркую Барсе-

Песня тепла

лону.

Фритьоф наконец впервые за много дней чувствует знакомый зуд в кончиках пальцев: вот бы уже сейчас рисовать, слабеющим глазом разгадывать оттенки белого, который под магией окружающих предметов оборачивается то розоватым, то серым, но уже ночь, а завтра будет буран и придется остаться дома! Обессилен от переживаний, он аккуратно присаживается на кровать и опускает голову на смятую подушку.

Когда приходит утро, йотун зевает – всю ночь он невольно косился глазами-пещерами на мечущиеся среди снежинок беспокойные сны старого человека из ярко-красного двухэтажного дома на окраине города.

Человек часто приходит в горы, пристально смотрит на йотуна и его собратьев и водит кисточкой по большому листу бумаги, то поднимая, то опуская взгляд, и тогда что-то ворочается в нутре йотуна, наматывается на невидимый вал и остается пахнущими медом красками на белом листе. Летом человек иногда приходит со зверьком, и тот, валяясь на раскинутом специально для него плаще, поет песни, которые йотун понимает – в отличие от песен людей. Ему вообще сложно понимать людей и их город – цветные кубики, беспечно разбросанные под старыми горами, но про этого человека и его зверя йотун почему-то знает все. Может быть, потому, что когда человек сидит в своем сером шерстяном свитере, он сам похож на обломок скалы, а его длинные белые волосы – на лучи северной луны. Йотун знает, что такое бывает с теми, кто долго живет в царстве снегов и становится родным древним существам и колесу зимы и лета. А этот человек еще и так искусно умеет множить скалы и снега на бумаге, что реальность двоится даже для йотунов, которые заглядывают ему через плечо и путаются в акварельных и каменных горах. Когда же йотун смотрит человеку внутрь, то видит нудную полярную

ночь, которая раз в день сменяется коротким периодом, и свежий свет заливает каждый уголок. Правда, свет этот льется откуда-то с юга, и в нем плывут блики горячего моря, отсветы сочной зелени и ярких красок, – а потом все гаснет. Жизнь в северном человеке поддерживает юг.

Йотун смотрит на крепко спящего Имира и потихоньку обдуывает злой ветер с моря, собирает миллиарды снежинок в широко раскрытую пасть, отгоняет тучи, которые сам же натравил на небо, и щурится, когда город и горы осторожно заливают сумеречный зимний свет.

Когда приходит утро, Снорри, мечтающий о солнечной луже на узком подоконнике, зевает и косится на Фритьофа. Тот, кажется, не верит слабеющим глазам – небо над городом словно светится изнутри, как рисунок акварелью, хотя должен бушевать буран. Если в известном вдоль и поперек мирке, составленном из полярных дней и ночей, снега, скал и унылой готовой еды из супермаркета, не срабатывают приметы – это серьезный сбой. Снорри это понимает, но не слишком удивляется: котам проще принимать перемены, ибо для них мир куда многослойнее и глубже.

Когда приходит утро, Фритьоф собирает небольшой мольберт и грунтованный картон, складной стульчик и акварельные краски и выскальзывает из дома, забыв позавтракать.

Он решает начать с аккуратного домика с голубой крышей – магазина игрушек. Они с маленькой Инге часто ходили сюда. Крохотный пряничный мир, согретый навесными фонариками, маленький разноцветный праздник среди сиренево-серого утреннего сумрака и снега. Он напишет его так, что Инге снова покажется, будто ей пять лет и она стоит перед яркой витриной, восхищенно разинув рот от красоты новой куклы в белоснежной пушистой шубке. Кукла кокетливо смотрит на Инге вполборота, улыбаясь через стекло, а Фритьоф судорожно прикидывает,

Песня тепла

во сколько ему обойдется эта красавица, если окончательно заморочит малышке голову и сердце. Но отдаст, конечно, сколько нужно будет; заберет, выгрызет, отнимет, выиграет у мира любыми способами – и отдаст, лишь бы Инге оставалась весела и довольна.

И он дует на мерзнущие пальцы, и полупрозрачными мазками на листе неспешно появляются и домик, и фонарики, и красotka в шубке, и свет появляется – особый, почти невидимый, из самой глубины листа и красок, – но Инге его точно заметит, почувствует, и лицо ее, загоревшее под палящим солнцем, чуть посветлеет. Фритьоф пишет и про себя сетует на слабеющее зрение – чем ярче становятся краски на листе, тем бледнее они кажутся, когда он поднимает голову на домик; а может, это просто снежная пыль, которую легкий ветер сносит с крыши, да сумерки январского дня.

Хозяин, господин Гуннар, появляется из магазинчика и приветливо кивает Фритьофу, но из вежливости не заглядывает в лист, а спускается с крылечка и быстрым шагом удаляется вдаль по улице – наверное, пошел за горячим кофе или обедом в ларек, оставив за прилавком сына. Его силуэт тоже плывет и качается в глазах Фритьофа, но он успокаивает себя тем, что почти закончил основное – останется только проработать детали и зафиксировать картину из баллончика, но это дома, дома, там тепло и можно будет сначала согреться и дать отдохнуть глазам. А день уже, оказывается, в самом разгаре, и по улочке туда-сюда ходят люди, бегают собаки, двери хлопают, гудки машин издали властно несутся вместе с поземкой, и полярная жизнь неспешно, но деловито кипит, мужественно игнорируя отсутствие солнца и тягостную зимнюю лень.

Фритьоф начинает понемногу собираться, складывать лист в особую папку, а мольберт, краски и стульчик – в большую сумку и напоследок решает заглянуть в магазинчик к сыну господина Гуннара. Что-то долго он сам не возвращается, а может, и давно

проскользнул мимо Фритьофа, увлеченного работой. Но старик заходит в дверь – колокольчики игриво звякают - а за прилавком никого, совсем никого, и ни одного посетителя – никто не разглядывает очаровательный игрушечный мир, никто не хочет заполучить себе кусочек волшебства, и некому все это волшебство сторожить. Странно, думает про себя Фритьоф, странно, но мало ли куда могли отлучиться хозяева, их дело. Ему отчего-то становится неуютно в заброшенном чудесном мире, да и зрение все-таки перенапряг – цвета все тусклее, а перед глазами какие-то мушки, и мелкие машинки и домики даже не разглядеть, и все словно бы расплывается.

Фритьоф выходит обратно, на улицу, и направляется в сторону дома, почти сразу же забыв про магазинчик, потерявшись в других мыслях и мечтах.

А йотун сидит горбатой горой, совсем тихо покачиваясь вперед-назад, и смотрит, смотрит с любопытством, распахнув глазщи, как посреди города мерцает маревом полупрозрачный, уже готовый совсем исчезнуть аккуратный домик с голубой крышей и как старик с белоснежными волосами возвращается домой, ест невкусную еду, кормит зверька, недолго спит, а потом снова принимается работу. И когда на листе картона ослепительной голубизной во всех деталях возникает чудесный игрушечный магазин господина Гуннара по улице Стургата, марево пропадает совсем, и дома в один миг сдвигаются друг к другу, как ни в чем не бывало, словно и не существовало никогда в городе никакого домика с голубой крышей, куклами и фонариками.

А Имир все спит богатырским сном – йотун нашептывает ему колыбельные, ох и достанется же ему потом за это! – и бурана нет ни на следующий день, ни после, и Фритьоф торопится, пишет, творит свою акварельную магию из последних сил, и, хотя рисунки получаются все такими же волшебными, как раньше,

Песня тепла

старик чувствует, что сил уже не так много. Но нужно успеть, дата выставки назначена, и Фритьоф даже реже звонит Семье – недосуг, он готовит Инге подарки, чудесные подарки: берет свои воспоминания, и грусть, и тоску, и скуку, и все, что он чувствует к городу, и пишет это с натуры, а на листе остаются только свет да радость – краски тоже волшебные и превращают одно в другое; на листе не место грусти и тоске, ибо к чему бы Инге это? Фритьоф радуется, ему словно бы становится легче – с каждой картиной отчего-то все меньше давит неуютный зимний город, словно старик по кусочкам разбирает его и оставляет на листах, а на них – уже не тот нудный Тромсе, что вокруг, на них – волшебство, любовь и свет.

И Магнус, давний знакомый Фритьофа, постоянный устроитель его выставок, приходит к художнику, смотрит на картины и одобрительно кивает головой.

– Это гораздо лучше, чем если бы ты просто написал серию городских пейзажей, – восхищается он. – Настоящий магический реализм! Первый раз у тебя такое вижу: это ведь Тромсе, точно он, но такой сказочный, да и откуда ты взял все эти места? Чудо как хорошо. Снова удивил, отец!

Фритьоф смеется: Магнус еще молод и, наверное, не знает всех городских уголков так, как он сам узнал их за многие-многие десятилетия – ну да, откуда бы. Но не узнать улицу Стругата? Наверное, невнимательно смотрел; да и ничего, и пусть называет это так, как ему нравится.

В последний день своей работы – он знает, что последний, почти все уже готово – старик проходит мимо улицы Стругата и решает заглянуть в магазинчик с голубой крышей. Он вдруг понимает, что хочет именно там купить подарок Ларсу, хоть и не знает толком, играет ли все еще внук в игрушки. Но он купит что-нибудь универсальное, пазл или набор для лепки, а то и просто красивый сувенир. И чтобы в нем обязательно нашлось что-то от того теплого севера, который они открывали вместе с маленькой Инге

– Фритьюф тогда словно заново смотрел и на горы, и на море, и на полярную ночь; все это восхищало и радовало малышку, и он радовался и восхищался вместе с ней.

Так в мыслях своих Фритьюф проходит всю улицу от начала до конца, а потом смеется своей способности замечаться и возвращается к месту, где должен быть магазинчик. Но где же он?

Фритьюф недоуменно оглядывает дома, которые стоят слева и справа от него: все верно, сувенирная лавка и ломбард, но почему-то теперь они стоят впритык друг к другу.

Старик беспокоится, он беспокоится за свою старость и память, и на всякий случай проходит заснеженную улицу вдоль и поперек еще раз, но так и не обнаруживает домика с голубой крышей. И тогда он решает прикинуться заезжим и обращается к хорошо одетой молодой даме с вопросом о магазине игрушек с голубой крышей, но та, дружелюбно улыбаясь, сообщает, что такого здесь нет отродясь, наверное, ошиблись улицей или еще что-то, может, вас куда-нибудь проводить?..

Спасибо, спасибо, нет, и Фритьюф бредет по городу в странном оцепенении, бредет, бредет, но на этот раз не позволяет себе задуматься, а как бы исподволь наблюдает, осторожно, чтобы не спугнуть город – но не находит ни маленькой старой кофейни, ни переулка, полного цветных бабочек-рисунков на стенах, не находит старого сквера, где вечно прогуливаются бродячие коты, ничего не находит, но ничем себя не выдает, а идет неспешным шагом домой и там садится в кресло, смотрит на картины и плачет, плачет, и слезы иногда капают прямо на сияющие краски. А белоснежный Снорри лежит под креслом, где тоже есть кусок ворсистого ковра, и иногда сочувственно высовывает лапу и трогает ноги старого художника, но что он может сделать, мудрый кот, для которого все, что происходит, так обыденно и понятно.

На следующий день Фритьюф идет в горы по почти незнакомому городу, а там смотрит прямо йотуну в лицо, и тот покорно перебирается на бумагу, садится горбатой горой на листе, зами-

Песня тепла

рает, а его собратья тревожно шушукуются, и от этого как будто слегка содрогается земля. Да нет, не от этого – старый Имир тяжело просыпается, оставшись без колыбельных! Уходи, уходи, старый волшебник, властелин красок и своих желаний, ибо в горах начинается буря.

– Пап, ты понимаешь... – Снорри слушает голос Инге вполуха, старательно мурлыкая Песню Тепла, без которой пропали бы и он, и Фритьоф в этой страшной метели, и не спас бы никакой ярко-красный двухэтажный дом на окраине. – Я рада, что ты хочешь приехать, правда, очень рада! Но мы только-только начали жить с Дженаро. Я боюсь за то, как вы поладите. Ладно, по правде, он очень вспыльчивый, и чуть что не по его... Давай ты приедешь, когда он будет во Франции на соревнованиях? Через полгодика или около того. Картины?.. Как хочешь, смотри сам, можешь отправить, если некуда девать. Не знаю, пап, не знаю. Все. Пора забирать Ларса из школы...

Фритьоф, как всегда, медленно возвращается в тесную комнату и долго-долго сидит, покачиваясь в кресле. Потом насыпает Снорри корма – а тот поет все громче, мудрый кот, он все понимает и хочет напоследок обогреть старика и себя – берет картон, краски, кисти и садится перед единственным зеркалом в комнате, потемневшим, треснувшим, но все еще способным выполнять свою функцию.

Смотрит на себя, а потом на лист, даже сейчас сокрушаясь о плохом зрении, грустно вздыхает и делает первый мазок.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

Алиса Хэльстром

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Возвращение домой

Рин просыпается рано, хотя вчера обещала себе спать, пока голова не заболит. Но с рассветом она открывает глаза. Как и всегда.

Костер давно догорел, хворост посерел, превратился в труху.

Небо наполняется желтизной и алыми красками утра.

Остается всего полдня пути до Юрико. Совсем скоро Рин придет туда, где будет теплая постель и душ прямо в доме. От этих мыслей становится чуть теплее, а губы сами собой расплываются в улыбке.

Она не была дома уже три года. Примерно. Дни Рин уже не считает.

Облака вдали превращаются в горы и гигантские замки. В детстве Рин думала, что в этих замках живут люди. Но в мире осталось так мало людей, что, даже если бы облачные замки существовали, там бы никого не было. Пустые замки покрываются пылью и исчезают вместе с утренней дымкой, когда восходит солнце.

Рин возвращается домой.

Она скатывает спальный мешок, закидывает тяжелый рюкзак

на спину и идет дальше.

Проходит мимо обрыва, с которого ребенком прыгала в озеро. Когда-то прямо у кромки воды стояло огромное старое дерево, но теперь его нет. Только старые гигантские корни торчат над водой, как щупальца огромного кальмара.

Озеро поднялось еще выше, чем когда она уходила, а обрыв стал еще круче. Вода подтачивает землю, и та медленно сдается, уходит вниз. Мир погружается в воду. Постепенно, постоянно. Сколько еще осталось?

Плечи ноют от усталости, но Рин поправляет тяжелый рюкзак за спиной и идет дальше. Пыльная дорога так и не заросла травой, а вот от древних покинутых домов почти ничего не осталось.

Они играли здесь детьми, залазили внутрь, но дома стояли. Всегда. Дома всегда противостояли запустению. Может, потому что всегда были люди, которые наблюдали за этим. Но постепенно лес поглощает все рукотворное.

В кустах по обеим сторонам дороги раздаются быстрые шорохи. Какие-то силуэты скачут-летают туда-обратно, туда-обратно. И снова, и снова, и снова. Ших-х. Ших-х.

Рин не боится лесных созданий. Никогда не боялась. Они не вылетают на дорогу. Лесное никогда не выходит к человеку. А вот наоборот бывает. Или, вернее, бывало.

Однажды в детстве Рин и Юри пошли в дом, который почти забрал лес. Сейчас ей стыдно вспоминать, но тогда они хотели найти драконье гнездо. Родители говорили, что если человек тронет драконье яйцо, взрослый дракон выкинет это яйцо из гнезда. Но они были детьми и не верили. Или верили, но хотели убедиться в этом сами.

Она не помнит, нашли ли они гнезда или яйца. Помнит только скелет, опутанный ветвями. Человеческий. Помнит глазницы, в которых цвели цветы.

И вот она идет по дороге размеренным шагом, а со всех сторон раздается ш-шух, ш-шух-х.

Что было потом

– Я вернулась, – шепчет Рин шуршащим существам. Прокашливается и добавляет громче:

– Я вернулась!

Лес на мгновение затихает, а затем шелестит еще громче. Ее встречают. Ее приветствуют.

Вскоре она выходит к полю, за которым стоит дом Юри. И когда-то ее.

Высокая трава растет повсюду, до самого горизонта. И никаких тропинок. Обойти поле можно по широкой дороге, по которой она и шла до этого, но это огромный крюк. Впрочем, Рин никуда не спешит.

Она снимает рюкзак и разминает плечи. За утро она не видела ни одного человека. Неужели все покинули эти места и ушли в города? Может, и Юри тоже?..

Нет. Рин мотает грязной головой, отгоняя эту мысль.

Юрико не уехала бы. Она слишком любит это место. Да и как не любить чистый воздух, облака, плывущие по небу, подступающее море и эти бесконечные луга?

Дорога плавно огибает поле, красное от цветов. Рин чувствует щекощущий аромат цветения. Чихает и трет нос рукой. Давно у нее не было аллергии. Впрочем, она давно не видела столько цветов. В городах одомашненные цветы держат в специально отведенных местах: в парках, на клумбах, вдоль дорог. А остальную растительность, настойчиво пытающуюся проникнуть в человеческие обиталища, срезают, сжигают, выдирают с корнем. Если запустить, то даже маленький сорняк вырастет так быстро, что обовьет собой все вокруг.

Через некоторое время Рин устает и снимает тяжелый рюкзак. Делает глоток теплой воды из древней пластиковой бутылки и радуется, что хоть на улице и не пасмурно, солнце уже не палит.

Скоро осень. Рин выбрала хорошее время, чтобы вернуться.

Она садится, опершись спиной на рюкзак, и нащупывает в боковом кармане предпоследний пищевой кубик. Кидает его в рот,

разжевывает и с трудом проглатывает. Запивает остатками воды.

Быстрее бы, быстрее бы дойти. Дома ждет настоящая еда, душ и теплая постель, в которой можно будет спать бесконечно.

Вдали раздается странный звук. Не природный.

Человеческий.

Рин настороженно встает – сидя в траве по пояс ничего не увидеть.

Из леса раздается звук, похожий на... трель мотора.

На открытое пространство выныривает старая машина с баулом, привязанным к крыше, и едет по единственной дороге туда, где стоит Рин. Она машет руками, и водитель, подъехав поближе, останавливается.

Рин подбегает, не дожидаясь, пока он откроет окно.

– Вы в деревню? – спрашивает она с надеждой.

– Да в какую деревню? – недоуменно хмурит брови немолодой мужчина с сединой в черных волосах. – Там всего-то два человека осталось.

– Как два? – шепчет Рин. – А кто?

– Женщины две, молодая да старая.

Рин требуется все самообладание, чтобы не упасть, потому что ноги вдруг перестают держать.

– А все остальные? Дети? Семьи?

– Да кто все? Уехали они давно. Дамба барахлит. Последние два года все огороды позаливало. Вот только сейчас... А вы давно в наших краях не были?

Рин кивает. Давным-давно.

– Три года.

– Могу подвезти. Все равно товары доставить надо.

Она только сейчас видит на передней двери машины небрежно нарисованный желтый конверт.

Почта.

– Письмо, да? – устало спрашивает она. – Только сейчас везете?

Что было потом

– Да, было письмо. Но кто ж только письмо повезет? Нет, товары заказаны. Еда, запчасти для дома. И конверт.

Рин против воли улыбается. Значит, ее еще не ждут. Значит, получится сделать Юри большой сюрприз.

В тумане

Рин поражается, что от когда-то огромного огорода почти ничего не осталось. Так, несколько грядок со скудной растительностью. Земля твердая, растрескавшаяся, как застывшая глина. Кажется, отец говорил, что под слоем плодородной почвы лежит глиняный слой. Видимо, вода все смыла.

Она ищет глазами дом. Да, он стал значительно выше. В некоторых местах даже угадываются бетонные блоки фундамента. Нижняя часть почернела, будто бы он провел некоторое время в воде. Хотя почему будто? Кажется, что деревянные доски уже начали гнить.

Заборов здесь отродясь не было, но обычно отличить участки разных семей можно было по высаженным по периметру цветам. Сейчас ничего не осталось. Редкие далекие дома одиноко стоят в поднимающемся вечернем тумане. Рин успела забыть, как далеко люди жили друг от друга в деревнях.

И тут она видит Юрико.

Та ходит со шлангом – поливает огород. На ней свободная рубаха и темные рабочие штаны, которые раньше носил ее отец, когда еще работал на металлургическом заводе. Волосы собраны в пучок на затылке, такой неаккуратный и милый, какого она никогда себе не позволяла в юности. Раньше Юрико всегда старалась выглядеть опрятно.

В носу вдруг щиплет, и Рин с силой трет его, отгоняя подступающие слезы.

– Приехали, – говорит мужчина.

Рин спохватывается:

– Да, конечно. Как я могу расплатиться? У меня есть орехи и немного денег, и...

Мужчина вскидывает руку.

– Да не надо ничего. Помоги только все выгрузить и донести до дома.

Она кивает и вдруг замечает, как Юрико выключает воду, кладет шланг и идет к машине. Рин выскакивает из машины навстречу, и Юрико останавливается.

Они смотрят друг на друга целую вечность, пока Юри не произносит:

– Ты... ты так похудела.

– Много ходила, – неуверенно улыбается Рин и делает еще шаг навстречу.

Юри улыбается в ответ.

Они обнимают друг друга. Юри такой хрупкая и маленькая, как никогда раньше. Волосы ее пахнут пылью, землей и осенью.

– Сейчас, – Рин отстраняется. – Помогу затащить вещи, которые почтальон привез.

– Я помогу, – кивает Юрико.

Вечером они сидят на крыльце и пьют теплый травяной чай из глиняных кружек. На Рин наконец-то чистая одежда, а вымытые шелковистые волосы развеивает легкий ветерок.

Когда она уходила отсюда, то подстриглась очень коротко, но за три года волосы снова отросли. Оказалось, что с длинными волосами жить проще – они закрывают уши на холоде, а когда мешают, их всегда можно заплести в косу или убрать в хвост.

Разговор течет плавно, медленно и иногда останавливается, когда они делают глоток из чашки или наливают из чайничка еще. Еще вчера Рин казалось, что ей нужно так много рассказать. А сегодня все это стало неважно.

Видимый мир только вокруг дома Юрико, а все остальное исчезает в вечернем тумане. Солнце прячется в облаках и падает, падает, падает вниз, медленно, но неотвратно.



– Кошмар нашего детства.

Злая старуха из дома №5.

– Ты поэтому еще не уехала? Не хочешь ее бросать?

Рин вспоминает, что злая старуха из дома №5 часто ругала сыновей, которые пытались уговорить ее переехать в город. Что, мол, никогда ее ноги не будет в месте, где есть дома выше двух этажей. Почему ее так пугала многоэтажность, никто не знал.

Юри пожимает плечами и делает глоток из чашки.

Солнце погружается в горизонт, окрашивая маленький туманный мир в теплые нежные тона. Лес, где поют птицы и цикады, далеко, а здесь поблизости даже травы нет, чтобы шелестела на ветру.

Рин ощущает внутри острое чувство одиночества. Она никогда не верила в бога, но если бы верила, то назвала бы это место богом забытым.

– Я скоро уеду, – говорит Юри, глядя Рин в глаза. – Даже если она останется.

Она часто говорила это и всегда оставалась здесь, в деревне. Но сейчас в ее взгляде решимость, которой раньше не было. Рин верит ей безоговорочно.

– У меня будет ребенок. Мне нужно в город. Но я пока не могу оставить ее. Она сломала ногу год назад и теперь почти не ходит.

– Ох. Я помогу тебе. Мы вместе ее перевезем.

– Она не поедет, – глухо говорит Юри, глядя вдаль. – Сказала, что никогда не уедет отсюда.

Мир меняется. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. А за три года изменился так сильно, что уже было не узнать.

– Кто отец? – спрашивает Рин.

– Да я откуда знаю? – Юри пожимает плечами. – Была в городе, зашла в кафе, ну и познакомилась.

Некоторые вещи все же не меняются.

– А ты? – осторожно спрашивает Юрико. – Нашла что искала?

– Сложно сказать. Возможно, я нашла людей, которые знают больше. Но они далеко. Очень далеко.

Юри улыбается. Пытается выглядеть ободряюще, но получается грустно.

– Тогда тебе нужно идти.

– Я не уйду. Я буду здесь, пока я нужна тебе.

– Конечно.

Туман становится гуще, воздух – холоднее. Высыпают звезды, такие привычные и такие забытые. Там, в других местах, и туманы, и воздух, и звезды другие.

Мир утопает в ласковой бархатной ночи.

Юрико отпивает из чашки и с улыбкой спрашивает:

– Совсем остыл. Пошли спать?

Злая старуха из дома №5

Она ничуть не изменилась. Все так же кричит, ругается и грозит всех избить палкой, хотя уже даже встать не может, а трость

Что было потом

Юри ей благоразумно не дает.

Старуха лежит на старом диване в темной комнате, из которой даже пауки давно сбежали. Пахнет старостью и лекарствами.

Рин здесь впервые, и комната соответствует всем ее ожиданиям: затхлая, старая, выцветшая. Как и ее обительница.

Сейчас та ругает Юрико за то, что привела с собой Рин. Юри безропотно слушает и кивает, потупив глазки – образец послушания. Рин стоит у входа и пытается слиться со стеной, с которой уже почти облезли полосатые коричневые обои.

Неожиданно голос злой старухи становится тише.

– Ну-ка, подойди сюда, - она щурится, глядя на Рин.

Та неуверенно подходит к кровати, где еще больше пахнет старым телом.

При ближайшем рассмотрении старуха кажется бесформенной. Будто бы когда-то она была толстой, а потом резко сбросила вес.

Та долго и придирчиво рассматривает Рин, а затем выносит вердикт:

– Слишком тощая. Надо кормить. Сегодня устроим ужин! Позвоните моим детям! Пусть приезжают к восьми.

Рин еле сдерживает улыбку.

– А ты чего лыбишься? Замуж тебе надо, а с парнями моими ты в детстве хорошо бегала. Может, приглянется кто. Младший-то мой еще в парнях ходит, а старший развелся. Пусть приедут, посмотрят на тебя.

Вот она, извечная тяга к размножению. Попытка убежать от неизбежного. Жаль, что уже слишком поздно.

Когда они выходят из ветхого дома, Рин понимает, что свежий воздух, оказывается, очень вкусно пахнет. Травой, цветами, летом.

– Возьмешь мой велосипед? – спрашивает Юрико.

– Зачем?

– Съездить позвонить.

– Что? Куда? – удивляется Рин.

- К автомату. Помнишь, где он? Идти не очень близко, но на велосипеде быстро.
 - Кому позвонить? – Рин все еще не понимает, что происходит.
 - Ну, детям ее.
 - Ты что, на полном серьезе собираешься их звать? Юрико улыбается.
 - Город в двадцати километрах, а у них машина.
 - И что? Они правда приедут?
 - А ты попробуй ей отказать.
- В этом есть своя логика.

Вечер

Рин вешает трубку и складывает пожелтевшую бумажку с номерами в карман куртки. Она и не думала, что трое из четырех детей злой старухи из дома №5 согласятся приехать.

Выходит из когда-то прозрачной, а теперь грязной стеклянной будки, одиноко стоящей в одуванчиковом поле. С одной стороны к автомату была протоптана тропинка, которая уже почти заросла, но Рин надо в другую сторону.

Вдалеке стоят ЛЭП, похожие на скелеты древних исполинских животных. Она слышит, как движутся электрически заряженные частицы. Она может даже увидеть, если постарается. Но это не то, чего Рин сейчас хочется.

Она стоит и слушает пение цикад. Вдыхает сладкий запах цветов. Затем садится на велосипед, чтобы поехать домой.

Призрачные парашютики отрываются от семянков и разлетаются по обе стороны от велосипеда, как ажурные белые брызги.

Вечерний воздух пропитан влагой. Вкрадчивый холод уже пробирается к сердцу, и невозможно остановить разливающуюся по венам осеннюю грусть.

Лето заканчивается. Как всегда, лето кажется целой жизнью.

Летом наступали каникулы, беззаботное время, и каждый раз

Что было потом

в начале лета казалось, что до осени целый миллион дней. Но каждый раз лето заканчивалось, унося с собой очередную частичку детства. Рин давно уже не ребенок, но испытывает это сладко-горькое чувство каждый раз, когда наступает осень.

Чтобы уж совсем усугубить ностальгию, она едет по местам детства. Проезжает по белому пушистому полю и направляется в лес. Но вместо того чтобы ехать по главной дороге, ведущей в город, сворачивает на первом же повороте направо. Когда-то там было озеро, куда они бегали купаться. Юрико, двое младших сыновей злой старухи и еще несколько мальчиков и девочек, которые вроде бы были друзьями, но сейчас Рин не может вспомнить ни имен, ни лиц.

Ее старый дом стоит почти у самой протоки, и после наводнения жить в нем стало невозможно.

Она останавливается и смотрит на скособоченный деревянный дом. Окна выбиты, из них торчат лозы кудзу с красными-красными цветами. Рин хочет зайти внутрь, но что-то останавливает ее.

Она хочет запомнить, как все было раньше. Ее маленькая светлая комната на втором этаже, где постоянно было жарко. Летняя кухня, где бабушка пекла пирожки с сыром. Комната мамы, заставленная, заваленная книгами и всяким хламом. В шкафах у нее были не только книги, не только отчеты, но и фотографии. Она, отец, их коллеги.

Теперь их уже нет. Никого не осталось. Всех выследили, а кого не выследили, убила старость.

Рин думала, что вернется и осядет в деревне, но тогда вернется еще больше воспоминаний. Да и у природы, как обычно, свои планы. Хотя, конечно, нет никаких планов. Природа приспособляется к тому, что делает человек. Природа привыкает.

Лес распространяется по городам. Лес находит путь. Но пока у них есть время.

Рин не расстраивается. Если все уже уехали и если Юри скоро уедет, зачем ей жить в этом всеми забытом месте?

Вскоре она выезжает на когда-то песчаный пляж, теперь покрытый уставшей серо-зеленой травой. От красивого голубого озера остался лишь заросший ряской пруд.

Рин кладет велосипед на траву и садится рядом.

Стоило только отвернуться, и мир изменился.

Три года. Ее не было всего три года.

По водной глади скользят водомерки. На другой стороне стоят покинутые дома, почти съеденные лесом. Стрекохут кузнечики, шуршат лесные создания, которых никогда никто не видел. Вечереет. Тепло стремительно уходит из воздуха и земли, будто вечер пытается отобрать у нее последние крохи уходящего солнца.

– Еще немного, – шепчет Рин. – Еще совсем немного.

Солнце мелькает в верхушках деревьев, опускается все ниже и ниже.

В конце концов становится так холодно, что Рин приходится встать, застегнуть куртку и надеть перчатки. Она поднимает успевший покрыться вечерней влагой велосипед и едет домой. Теперь ее домом можно назвать дом Юрико.

Когда она приезжает, у дома №5 уже стоят две машины: джип и седан. И если джип кажется старым и изношенным, то седан выглядит почти новым. Чистый и почти без царапин.

Рядом с домом суетятся люди. Их больше, чем Рин ожидала увидеть: трое мужчин, две женщины и три, нет, четыре ребенка, которые носятся вокруг. Юрико сидит на скамейке у дома рядом с нарядно одетой и причесанной злой старухой.

Входная дверь открыта настежь, а чтобы не налетели комары, в проеме висит прозрачная занавеска. Над дверью горит свет, а стол уже накрыт.

Рин подъезжает ближе, и все внимание устремляется к ней. Она подходит ближе и узнает своих старых друзей. Каждого из них.

Будто бы и не было всех этих долгих лет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ведьмы

Ведьмы пляшут вокруг костра в ночи, а их шустрые длинные тени бегают по деревьям. Рин сидит поодаль, в тени, неотрывно глядя на ведьм.

Танец завораживает своим изяществом и резкостью, плавностью и неожиданной порывистостью. Они танцуют и поют, подстраиваясь друг под друга, хотя нет никакой музыки и нет никаких правил. Они свивают своим танцем будущее, судьбы, мир, Вселенную. Ну, так написано в программке.

Последний летний танец, претворяющий начало сентября. Жар большого костра постепенно спадает, сменяясь ночной прохладой.

А ведьмы все танцуют, танцуют босиком, в светлых струящихся платьях, а их длинные шелковые волосы развеваются вслед, как волны. Ведьмы грациозны и легконоги, кажется, что обычному человеку так никогда не научиться. Ведьмы двигаются, каждая в такт своей музыке, образуют при этом сложные фигуры, будто так и было задумано. На самом деле, они импровизируют. По крайней мере, Рин хочет так думать.

А костер пылает, вздымается все выше и выше, краснеет, ста-

новится холодным, вытянутым, длинным. Ведьмы подбираются все ближе к нему, замыкая круг. Они не боятся багровых искр, не боятся сполохов света или потоков горячего пламени. Их платья и волосы сделаны изо льда, и потому ни одна искра не касается их. Это то, что Рин хочет думать. На самом деле, они просто очень осторожны и натренированы.

Огонь затухает быстро, и ведьмы поднимают длинные белые руки ввысь, где над поляной повисла молочно-бледная луна и шлейф отколовшихся от нее кусков. От тусклого красного, багрового не остается ничего, и по поляне разливается призрачный свет.

Но ведьмы указывают вверх, вверх, вверх. И Рин во все глаза смотрит туда, куда устремляются их руки.

Небо расчерчивают белые сияющие шрамы. Десятки, сотни падающих звезд. Остатки самой большой орбитальной станции, сгорающей в атмосфере последние сто пятьдесят лет.

Звездопад такой яркий, что у Рин слезятся глаза. А когда шею уже начинает сводить и она опускает голову, то видит, что перед ней сидит Проводница. Да, именно так. С большой буквы. Так написано в программе. Наверное, у Проводницы есть настоящее имя, но она его не называла. Впрочем, не она одна.

– Тебе понравилось? – голос звучит шелестом листвы вокруг.

Рин кивает.

– Надеюсь, ужин понравится тебе еще больше. Из соседней деревни придут мужчины и принесут мясо, рыбу и птицу. Будет и другой досуг. Если ты захочешь.

При упоминании еды живот отзывается легкой судорогой, потому что она сидит здесь уже несколько часов без еды и питья. А вот другой досуг ей неинтересен. Сейчас не время для этого.

– Спасибо, это не слишком... интересно. Я бы больше хотела посмотреть... – она сглатывает.

– На что? – щурится Проводница.

В лунном свете невозможно понять, какого цвета у нее воло-

Что было потом

сы или глаза. Черно-белый мир ночи. Она никогда не появляется при свете дня. Рин могла бы увидеть. Могла бы...

– Ваши рощи.

– Боюсь, это пока невозможно. Ты провела здесь только три недели. Мы не даем позволения посещать наши сокровенные места людям, которые проводят здесь меньше чем три месяца.

– Я знаю. Но я не просто так здесь. Правда.

Рин усаживается ровно, подогнув под себя ноги, нервно сжимает пальцами полы выданного ей шерстяного платья. Она отдала все свои сбережения, чтобы остановиться здесь на месяц, и вскоре у нее ничего не останется, чтобы платить аренду дальше.

Сакральные вещи требуют много вложений.

Да, думает Рин. Особенно финансовых.

– Ты можешь кое-что сделать, чтобы попасть в рощу.

Тон Проводницы игрив и весел.

– И что я должна сделать?

Какие-нибудь странные поручения, да? Добыть в лесу папоротник или что там обычно хотят ведьмы?

– Рассказать, кто ты. Ты ведь не обычный человек.

По спине Рин пробегает холодок.

– Как вы поняли?

Проводница улыбается и не отвечает на ее вопрос.

– Тебе незачем скрывать. Здесь – незачем, – шепчет она.

– Не все люди относятся к нам хорошо. До сих пор. Хотя прошло столько времени... – Рин вздохнула.

Проводница подсаживается ближе, гладит ее по руке.

– Твоя жизнь не была легкой. Я понимаю.

– На самом деле... – Рин прикусывает губу. – Моя жизнь не была такой уж тяжелой.

На самом деле, ее жизнь была прекрасной. Полной любви и тепла, безмятежности и покоя. В ее жизни была дружба, такая близкая, что они казались половинками одного целого, радость, которой было так много, что не объять, не измерить, счастье, ли-

мит которого превышен во много-много раз. Невозможно сказать, чего было больше. Наверное, если есть горе, то и счастье ощущается больше. Глубже. Многограннее.

– Но тебя привело сюда горе, разве нет?

Рин усмехается. Что еще может привести в такое место? Разве что богатство и скука.

– Моя лучшая подруга умерла. Юри... – она осекается. – Я называла ее Юрико, потому что привыкла. Она с детства любила Древневосточную культуру. Японию, Корею, Китай. А я не особо, если честно. В Китае в Средние века женщинам бинтовали ноги. Знаете, этот мерзкий обычай...

Проводница кивает.

– Мою подругу звали не Юрико, но я ее так называла. А она называла меня Рин. С детства эти прозвища остались. Это не мое имя, но я называю себя так.

– Что с ней случилось?

– Умерла при родах. Осталась дочка, – Рин пялится на свои колени и непроизвольно сжимающиеся кулаки. – Она оставалась в деревне до самого конца. Заботилась об одной старой женщине, которая не хотела уезжать. Все ее дети разъехались. Ее – женщины, а не Юрико...

Проводница кивает.

– А Юрико осталась. Все ждала. И вот... дождалась, – заканчивает Рин.

– И что же случилось?

– Я вызвала скорую, но они приехали только через два часа. Все уже закончилось. А у меня на руках был младенец.

И кровь Юрико.

– А что случилось с той женщиной?

Рин разводит руками. Она не знает и не хочет знать.

– Ты можешь посетить рошу через четыре дня, в последние сумерки лета, – говорит Проводница и, шурша юбками, поднимается с земли.

Что было потом

Вот так просто? Но Рин не намерена спорить.

– Спасибо вам, - она склоняет голову.

– Не благодари меня. Ты была честна, а потому я позволю тебе прикоснуться к нашему наследию.

Рин снова кивает и благодарит Проводницу.

Та оборачивается.

– Я не знаю, что тебе нужно узнать. Но будь готова получить не то, чего ты ждала.

Рин улыбается. Она читала слишком много книг, где мудрые старцы говорят примерно то же самое.

– Или не получить ничего.

Проводница уходит, а Рин остается смотреть наверх, на осколки луны, на осколки солнечных крыльев космической станции.

Осталось немного.

Три недели она помогала ведьмам шить, полоть и поливать огород, собирать урожай и готовить. Слишком монотонно. Слишком тяготно.

Теперь осталось подождать четыре дня.

Возможно, в рощах она узнает ответ. Если повезет.

Роща

Ничего не слышно, кроме легкого покрапывания дождя. Но это сверху, под открытым небом. Здесь же кроны деревьев такие густые, что ни одна капля не проникает пока в рощу.

Рин идет тихо. Ей кажется, что один громкий звук – и она потревожит нечто спящее, разбудит нечто древнее, спугнет нечто волшебное. Тропинок здесь нет, поэтому ее ноги шуршат в траве, но этот звук сливается с барабнящим по деревьям дождем. Здесь, в роще, свежо и прохладно. Деревья растут редко, но их пушистые верхушки смыкаются над головой, и ни единого уголка неба не видно. Только ветви и листья, листья и ветви.

Рин идет тихо. Двигается так, чтобы не издавать ни звука. И не

понимает, что такого священного в этой роще. Совсем не понимает.

А ведь она слышала, что именно здесь сокрыты ответы. Может, где-то в роще есть библиотека? И там секреты раскроются?

Или это какое-то испытание, в ходе которого Рин должна понять, что все ответы находятся у нее внутри?

Какое-то время она бродит, а потом садится, прислоняется к одному из деревьев спиной, утыкается лицом в колени. Слезы текут сами по себе.

Впервые за долгое время она позволяет себе плакать. По Юри, которой больше нет. По времени, которое уходит навсегда. По той жизни, которая у них была. Это было неизбежно, но не так. Не так рано, не так быстро.

Через некоторое время – она не понимает, прошло несколько минут или несколько часов – становится легче.

Жизнь продолжается, даже если кто-то уходит безвозвратно.

Рин встает на ноги и отряхивает платье. Вдыхает полной грудью прохладный воздух. И вдруг видит. Одно дерево, второе позади него, третье поодаль в тени.

Оборачивается и видит вблизи.

Дерево, к которому она прислонилась, вовсе не дерево.

Вернее, когда-то было не дерево.

Теперь Рин отчетливо видит в стволе человеческую фигуру. Руки, поднятые вверх, превратились в ветви. Где-то на уровне глаз угадывается то, что когда-то было лицом. Женским лицом. Потрескавшаяся кора не может скрыть его красоту и филигранность.

Рин подходит ближе и дотрагивается до сероватой коры – теплой. Такая теплая, какими не бывают деревья.

Удивительный симбиоз.

Родители говорили, что однажды этические запреты были сняты и появилось множество странных существ. Например, такие, как Рин. Но про симбиоз животного и растения она раньше ни-

Что было потом

когда раньше не слышала.

– Эй? – шепчет Рин. – Ты меня слышишь?

– Не слышит, – отзывается кто-то позади.

Она оборачивается, но никого не видит. Слишком густые кроны, слишком темно. Даже для нее.

По коже бегут мурашки.

– Кто здесь?

Здесь, здесь, здесь... – отзывается эхо.

– Нет, серьезно. Кто?

Не бойся, шепчет лес. Иди вперед, вперед, вперед...

Рин не понимает, куда именно ей идти. Она слышала, что у роши есть центр, но карты ей, понятное дело, никто не дал.

Поэтому она идет туда, куда шла с самого начала – куда-то.

Дождь одобрительно шепчет где-то наверху.

Вперед, вперед, вперед, шепчет роша.

Теперь в каждом дереве Рин видит силуэт. Лицо, тело, руки... И все они спят. Никто не открывает глаз.

Интересно, сколько им лет? Сколько вообще лет нужно дереву, чтобы вырасти на десяток метров? Ей интересно, как люди превратились в деревья. Или все было наоборот? Деревья создали такими?

Иди, иди, иди, шепчет листва.

И она идет, идет, идет.

Пока не выходит на поляну, где всюю хлещет дождь. Посреди поляны стоит дерево. Самое высокое, самое широкое, самое древнее.

Центр роши.

Ветви у него гуще, больше, толще. Оно возвышается над остальной рощей подобно великану. Но стоит оно обособлено, будто бы другие деревья боятся его. Или же – проявляют уважение.

Иди, иди, иди.

И Рин идет.

Ствол дерева покрыт множеством лиц: красивых, безобраз-

ных, больших, маленьких, почти затерявшихся. Разных.

Рин откуда-то знает, что это лица всех растущих здесь деревьев. Все они оказались здесь. Она обходит ствол кругом несколько раз, разглядывает лица, которые тянутся с самого низа до самого верха, где уже ничего не разглядеть.

Зрелище завораживает.

– Удивительно, правда? – слышит она сзади голос Проводницы.

– Это были люди? – спрашивает Рин тихо. – Или они с самого начала были деревьями? Я не могу понять.

– Никто не знает, как было вначале. Но теперь каждый может стать частью рощи. И я хочу, чтобы ты стала одной из нас.

– Одной из вас? – спрашивает Рин.

Проводница задирает рукав платья до локтя. Предплечье ее покрыто корой.

Рин цепенеет.

Если вся эта роща один гигантский компьютер, то, конечно, ему нужны новые данные. Новая информация.

– Значит, вам нужны новые люди здесь? Да? – Рин смотрит Проводнице в глаза.

Та кивает.

– Но местные не подходят, потому что слишком мало что знают. Потому что они живут здесь и почти ничего не видят.

Все вдруг проясняется.

– Иногда вы отправляете людей путешествовать, чтобы они вернулись с новыми знаниями, да? Так я узнала про рощу. Давным-давно. Еще до того, как Юрико...

– Они почти никогда не возвращаются, – грустно улыбается Проводница.

– А я издаюла и все еще в трауре. Хороший вариант.

– Тебя никто не заставляет. Ты можешь сама выбрать: да или нет.

Рин кивает.

Что было потом

– Ты пришла за ответами. Если останешься, узнаешь все секреты прошлого. Еще много лет ты останешься собой. Ты сможешь общаться с другими людьми. А потом станешь чем-то намного большим.

– Я не знаю, – Рин улыбается и вдруг замечает, что дождь закончился, а на небо кто-то или что-то нанизало яркие, еще летние звезды. Воздух свежий и холодный. – Я не могу согласиться. Пока не могу. Поймите меня правильно. Я очень хочу узнать о прошлом. Но я не готова остаться здесь навсегда. Возможно, однажды я еще приду.

– Если ты хочешь узнать о прошлом, то путь тебе – на Свалку. Возможно, там ты найдешь ответы.

Рин кивает и благодарно улыбается.

Проводница склоняет голову и улыбается в ответ.

– Мы будем ждать тебя, сколько потребуется. Мы никуда не спешим.

Остров

Остров дрейфует в океане целую вечность. По крайней мере, так думают люди. Людям легко вообразить вечность. Все, что превосходит по продолжительности их жизнь, они называют вечностью. Это удобно.

Но продолжительность жизни человека почти всегда можно просчитать. Продолжительность жизни робота не просчитаешь.

Сколько еще она будет жить?

В последнее время она слишком много думает. И больше всего ее волнует, почему она думает о себе как о существе женского пола, ведь у нее нет ни женского набора хромосом, ни женского набора гонад. Только тело, которое создатели сделали женским.

Ида смотрит на свои руки. Синтетическая кожа легко поддается загару, но никогда не краснеет и не шелушится. Удобно.

Океан бесконечен. Небо бесконечно. Бесконечна ли ее жизнь?

Ида пока не знает. И не хочет знать.

Она чувствует, что кто-то тянет понтон за веревку. Оборачивается. Ее тянет к острову человеческая особь. Рядом стоит особь покрупнее.

– На пути земля! – кричит та, что поменьше.

Судя по голосу, еще молодая.

Сколько лет назад Ида видела землю? Десять? Пятьдесят? Сто? Память уже не работает так хорошо, как раньше. Ничего уже не работает так, как раньше. Она даже не может запомнить имена нового поколения.

Ида осторожно выбирается на горячий пластиковый берег.

От возбуждения молодая особь подпрыгивает на месте. Особь постарше шевелит бровями.

– Зачем нужна я? – спрашивает Ида.

– Мы хотим мнения эксперта. Может, стоит приблизиться к земле? Может, это уже не опасно?

Люди очень нетерпеливы. Ида понимает почему.

У них так мало времени. Так мало.

Она смотрит на полуденное солнце и пытается откалибровать яркость. Как обычно в последнее время, безуспешно.

– Можно мне на смотровую площадку? – спрашивает молодая особь.

– Да беги, – разрешает вторая.

Особь убегает. Ида давно не может бегать, потому что некоторые запчасти ее поизносились и требуют замены.

– Нет, – говорит Ида. – Это слишком опасно. На земле была чума.

На самом деле, конечно, не чума.

– Наши врачи говорят, что это уже безопасно. Сколько прошло времени с тех пор, как наши предки покинули землю? Полтора века? – в голосе слышится неуверенность.

– По-вашему, это достаточно? – жестко спрашивает Ида.

Старая особь молчит. У здешних врачей нет ни оборудования,

Что было потом

ни книг, ни знаний. Особь знает это. Их даже врачами не назвать. Знахари не врачи.

– На большой земле до сих пор может быть опасно. Даже не болезни, а сами люди.

Ида не говорит, что раньше люди с большой земли ненавидели роботов. За столько поколений их суеверия могли принять поистине страшные формы. Да и как они отнесутся к островитянам? Что подумают?

– Вы представляете, как они могли мутировать за это время? – вновь спрашивает Ида.

Некоторое время оба молчат.

– Мы пройдем вдоль шельфа. Здесь много рыбы, - в конце концов говорит особь.

Ида кивает.

Можно ли мечтать о большем?

– Война закончилась давным-давно. А это ее отголоски. Не трогайте руками – в металле до сих пор высокий уровень радиации. Можете поднести свои счетчики Гейгера к танковой пушке, чтобы убедиться.

Рин не нужен счетчик, чтобы убедиться – гид права. Рин чувствует слабый поток ионизирующего излучения.

Она не знает, какой была та война. Никто – или почти никто – не знает. Наверное, это хорошо. Наверное, людям не стоит знать, что они сотворили с миром.

– История не прощает ошибок, – говорит гид.

История прощает все, думает Рин. Историю можно переписать, исковеркать, додумать, как все было на самом деле. Особенно если не знаешь, что произошло.

Война закончилась, но эхо осталось.

Искореженная техника: танки, вертолеты, винтовки. Все ржавеет, уходит в землю, прорастает свежей зеленой травой.

Почему люди бросили все свое оружие здесь? Чего-то испугались и сбежали? Или же оставили напоминание будущим поколениям?

Никто ничего не знает. Никто ничего не помнит.

Люди, молодые и старые, бродят со своими счетчиками, которые им выдали на входе, дети заглядывают во все щели, кто-то хочет найти настоящий скелет. Ну или хотя бы голову.

Зачем Рин пришла сюда? В музее военной истории нет ничего полезного. Когда-то люди прятались в катакомбах, но катакомбы затопило, и все знания, все труды, написанные на бумаге, были потеряны. Остались заламинированные карты и герметичные коробки с миллионом инструкций на случай войны.

Война случилась, инструкции вскрыли много позже.

А ведь когда-то люди боролись за прекращение использования бумаги и пластика. Время решило за них.

Рин проходит мимо стола, заваленного ламинированными квадратиками инструкций. Берет один и читает, как правильно собирать палатку. Вот только палаток нигде не видно.

На втором листе рекомендация по потреблению пайков. Дробное питание, чтобы так мерзко не становилось. Рин не любит пайки, но ценит их. Созданные еще во время войны, но все еще съедобные и даже питательные. Были бы они вкуснее, то цены на них задирали бы бешеные. Но куда уж без мерзкого вкуса?

Рин слышала в детстве от кого-то из друзей, что где-то в мире есть сладкий паек. И тому, кто съест этот паек, будет всегда везти. Но для того чтобы съесть, нужно найти. А найти непросто, потому что целые кланы ищут его и сражаются за него.

Рин уже тогда знала, что люди больше не сражаются друг с другом.

Только потом она поняла почему.

– Война закончилась много лет назад, – повторяет гид. – И пусть кто-то говорит, что в той войне не было победителей и проигравших. Все изменилось. – Она вдыхает полной грудью и смо-

Что было потом

трет в чистое голубое небо. – Но мы можем жить в мире. Можно ли мечтать о большем?

Рябиновые бусы

В траве вокруг звенят-стрекочут цикады. Над головой синий бархатный купол, усеянный звездами. В воздухе – еле-еле, почти незаметно – пахнет солью и йодом.

Рин шагает к океану. У нее впереди долгая дорога.

Завтра она дойдет до большого портового города. Остановится в каком-нибудь хостеле с общим душем и туалетом, но отдельным одноместным номером. Ляжет спать вечером и проспит до самого полудня на мягком матрасе под теплым-теплым одеялом. Завтра она будет есть не высококалорийные капсулы, от которых уже тошнит, а настоящую еду – мясо, рис, картофель. Что угодно, лишь бы настоящее. Завтра вечером она наденет чистую одежду и пойдет танцевать на берегу вместе с работниками порта и моряками. Завтра...

А сегодня у нее в программе звездная бесконечность и пара пролетающих мимо спутников. Она слышала, что над планетой все еще летает шестьдесят восемь станций.

Интересно, есть ли там люди?

Может, там, далеко над землей, в десятках или даже сотнях километров, есть еще кто-то живой? И вот он, она или оно смотрит сейчас вниз и задается вопросом, что здесь происходит. Конечно, сверху понятно, что здесь жизнь еще есть. В больших городах все еще горит свет. Хотя каждый год отключают все больше и больше электростанций, а городов становится все меньше.

Сколько еще поколений нужно, чтобы света не осталось и наступила ночь? И как эта ночь наступит? Отключат ли люди последние электростанции и будут уютиться в темноте, разжигая костры, прижимаясь друг к другу в ночной прохладе? Или до последнего будут использовать энергию воды, горения или солнца?

Когда людей не станет, станции будут постепенно отключаться одна за одной. Свет будет гаснуть постепенно, город за городом. Самыми последними отключатся гидроэлектростанции, работающие за счет энергии дамб. Так, по крайней мере, говорил отец. Ну, приемный отец.

Людям с орбиты в последние дни человечества сложно, наверное, будет понять, живы люди в городах или уже нет. Если станции будут еще работать. Если они смотрят. Если им не все равно. Если там кто-то есть.

Хотя на орбитальных станциях может быть более совершенная техника слежения. Может, даже кто-то видит, как Рин лежит сейчас под звездами. Одна во всем мире. Теплая моховая подложка и химический спальный мешок согревают ее, а космос сверху будто убаюкивает. Приходит сонливость. Становится тепло и уютно. И вся жизнь видится лишь как порванная нить рябиновых бус. Бусины падают одна за одной, одна за одной. И в этом нет ничего страшного. Лишь спокойствие и умиротворение.

Скоро наступит ночь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Робот

По обе стороны от дороги – вода. Чистая, голубая вода. Вокруг расстилается легкий туман. Рин слышала когда-то, что здесь всегда туман. И тишина.

Кажется, что в мире раннее утро, но это не так. Вернее, где-то в мире и правда сейчас раннее утро, но это в других часовых поясах. В этом краю скоро вечер, но солнце здесь не меняет своего положения. Оно навсегда застыло над самой кромкой бесконечной воды. Вроде как это связано с системой наноосвещения, гигантской паутиной не толще миллиметра и диаметром тридцать километров, которая питается энергией солнца. Древние технологии. Сейчас никто не знает, как отключить ее или перенаправить энергию на освещение или обогрев домов. Специалистов не осталось.

Рин шагает по старой бетонной дороге, изъеденной, рассеченной проросшей наполовину травой, наполовину водорослью.

На самом деле, водорослей как единой группы не существует. Просто когда-то разные по происхождению, клеточному составу и другим признакам растения объединили в одну категорию – то, что живет под водой. Так, видимо, было проще.

Справа, далеко-далеко, виднеется лодка. Кто-то рыбачит. Интересно, кого здесь ловят? Рыбу? Раков? Осьминогов?

Чем дальше Рин идет, тем больше лодок замечает. Иногда встречаются насыпи земли по бокам от дороги, где можно посидеть и отдохнуть. Там растет трава, а в некоторых местах – небольшие тонкие деревца. На каждой такой полянке стоят грубо сколоченные деревянные мусорки. В некоторых даже что-то есть. Видимо, сюда приходит много людей.

Рин идет к Свалке – священному месту предков. Вернее, к тому, что от нее осталось. Идет по священной дороге, пересекающей водохранилище. Конечно, священное.

Она и не знала, что людям разрешено рыбачить на этом водохранилище. Вода тут чистая, даже очень. Но водохранилище-то священное.

Отец когда-то говорил: чем невежественнее человек, тем больше у него священного. Знания уходят, а на их месте, как кривые заплатки, появляются предрассудки, суеверия, ритуалы. Он очень из-за этого переживал. А маму это никогда не волновало. Мама была исследователем. Одним из последних.

Родители Рин и Юрий работали вместе в библиотеке. Ну, до того, как начали жить в деревне. Они тогда еще думали, что натуральное хозяйство может спасти человечество от кризиса.

Не спасло.

Рин радуется, что оставила рюкзак в деревне. Надеется, что он ее дождет. А если нет, значит, найдет или купит новый. Может, даже на самой Свалке. Говорят, там вокруг целый гигантский рынок, где продают все на свете.

Водная гладь похожа на зеркало, на проход в какой-то непознанный волшебный мир. Стоит только сделать шаг – и ты в другом месте, в отраженном мире, где вместо людей рыбы, а вместо домов – обросшие полипами бетонные блоки. Там прохладно и хорошо. Можно лечь на дно, раскинув руки, и ждать, пока наполнишься водой, внутри поселятся рыбы, а на костях начнут расти кораллы.



Рин с трудом отводит взгляд от воды. Та будто манит, притягивает к себе. Интересно, все ли доходят до Свалки? Или кто-то слишком сильно вглядывается в воду, подходит ближе, и ближе, и ближе и... Нет, это слишком глупо.

Сине-серое небо матово сияет. Пахнет водорослями. Тонкая пленка воды серебрится, мерцает еле заметной рябью. Вокруг так спокойно, что весь остальной затихающий мир, который остался по ту сторону паутины, кажется заполненным звуками. Листва, ветер, старые ржавые механизмы, шепот людей, слабо различимый шум бегущего по проводам электричества, гром, потрескивание костра, шуршащая под ногами трава и сухие деревяшки.

Рин так погружена в свои мысли, что не сразу замечает тусклый силуэт вдали. Затем подходит ближе. Перед ней стоит девочка лет семи. Стоит и не шевелится. Люди так не умеют. Девочка здесь и владычица, и страж порога. Кажется, что она выросла в это место. Что она была создана вместе с этой землей.

Рин знает, кто перед ней. Если спокойно пройти мимо, то...

Девочка берет ее за запястье.

Рин замирает.

– Добро пожаловать, младшая сестра, – говорит девочка слишком глубоким для такого тельца голосом.

– Я тебе не сестра, – отвечает Рин предельно вежливо и осторожно убирает руку. На запястье остаются следы.

– Зря ты так. Посмотрим, как ты заговоришь через триста лет, когда все люди уйдут отсюда.

Девочка вновь возвращает свою руку в исходное положение – вдоль тела.

– Почему они должны уйти?

Девочка поворачивает голову к Рин и улыбается. Страшно, механически.

– Людям надо есть. Скоро здесь будет нечего есть.

– Я тоже уйду.

– Это пока ты так думаешь. Разве ты не хочешь вернуться в

Что было потом

Ведьмину рощу?

– Откуда ты это знаешь?! – невозмутимость Рин дает трещину.

– Беспроводная сеть. Я все про всех знаю. Так вот, – продолжает девочка как ни в чем не бывало. – Вода поднимется на полтора метра, и люди уйдут отсюда. Они могли бы подняться чуть выше, но дороги приходят в негодность, и вскоре никто не будет возить им продукты, вещи, средства гигиены, лекарства и оборудование для ремонта. Трубы и электростанции тоже работают все хуже. Тебе не стать одной из них. Ты даже родилась по-другому.

– Хорошего дня, – нервно говорит Рин и уходит дальше.

Руки ее дрожат.

Она всегда боялась роботов.

– Ты хочешь спасти мир? – раздается детский голос сзади.

– Ты меня дразнишь? – спрашивает Рин, останавливаясь.

– Нет, – отвечает робот. – Я хочу, чтобы ты не теряла время. Ты не спасешь мир. Никто из вас не спасет. Надежда бессмысленна.

– Это для роботов надежда бессмысленна. А мы другие.

Робот смеется, и смех его звенит серебряными колокольчиками.

Свалка

Она идет дальше, пытаясь унять дрожь в руках. Когда она оборачивается, густой липкий туман уже скрывает то место, где стоял робот.

Надо было спросить его. Если робот все про всех знает, значит, он должен знать, что случилось давным-давно. Что случилось с миром.

Рин останавливается. Присматривается, пытается разглядеть робота. Но туман слишком густой. Она хочет вернуться, но страх обволакивает сильнее, чем туман.

Роботы не такие, как она. Роботы были созданы для других целей. Для работы. Для утех. Для войны. Она видела разрушенных

роботов на местах прежних сражений. Были роботы-солдаты. А были и шпионы. Дети. Подростки.

Люди слишком добрые. Они не убивают детей. По крайней мере, если смотрят им в глаза. Гораздо проще убивать химическим или биологическим оружием. Это далеко. Это не считается.

Вскоре дорога становится чище. Травы меньше, запах водорослей уже не такой сильный. Сквозь туман Рин видит вдали очертания высокого, геометрически правильного здания. Чем ближе она подходит, тем больше зданий вырисовывается вдали. За одним зданием возвышается другое, а за другим третье, каждое громаднее предыдущего.

На самом деле это не здания. Не деревня. Не город. Это древняя Свалка из легенд.

Люди строили специальные высоченные многоэтажные коробки, которые, строго говоря, не были предназначены для мусора. Мама говорила, что это для консервации. Скорее всего, там хранилась старая военная техника. Но это было давно.

Сейчас одни из этих коробок частично опустошены и разграблены, другие только пытаются взломать, на третьих наклеены знаки биологической или химической опасности. К ним не приближаются. Для людей это опасно.

Для таких, как Рин, наверное, нет. Но она не хочет проверять. Ей не нужно человеческое оружие. Не нужны человеческие технологии. Ничего хорошего все равно не выйдет.

Она сходит с бетонной дороги на землю и идет дальше. Вскоре она слышит голоса. Сонм голосов, неразборчивый, как во сне. Затем туман развеивается, и она видит настоящую Свалку. Над миром гигантские короба, которых так много, что они теряются вдали, в небесах. А вокруг этих исполинов расцветает вечная ярмарка. Прилавки, таверны, дома, гаражи, магазины, церкви, больницы, гостиницы, бордели, детские сады, огороды, библиотеки, школы, музеи. Все вперемешку. Все как в обычных городах. И даже больше.

Что было потом

Ярмарка тянется во обе стороны, огибая древние здания. Рин слышала, что ярмарка нигде не прерывается. Она действительно окружает короба. Здесь много улиц, и каждая замыкается в кольцо. Возвращается сама в себя. Интересно, сколько это километров? Десять? Двадцать? Сто?

Рин слышала, что здесь можно купить все, что только пожелаешь. Еду, одежду, транспорт, наркотики, оружие, даже древние компьютеры. Рин слышала, что здесь обязательно ограбят. Отнимут все, что было, и заставят остаться навеки. Она слышала о ритуалах, которые проводят здесь каждое полнолуние. Мужчины спят с женщинами в храмах, как в древние времена. А еще она слышала, что здесь можно найти любую информацию. Если правильно искать.

Она прошла полмира, чтобы найти Свалку. Переплыла целый океан вместе с группой людей, которые искали лучшей жизни на другом континенте. Долго искала дорогу сюда.

И теперь жалела лишь об одном. Что не взяла с собой рюкзак.

Разговоры

– ...клепать роботов с такой внешностью? – слышит Рин около трактира и резко тормозит.

Двое мужчин разговаривают за столом под тентом. У них на столе пиво и закуски, пахнущие жиром и маслом. Они похожи на рабочих: грубая рабочая одежда подобтерлась, на лицах щетина, невымытые волосы

Вокруг по улице снуют люди. Их много, они спешат. Почти все спешат. И только Рин стоит в этом круговороте без движения. Прислушивается.

– Потому что некоторые любят маленьких детей. Ну, ты понимаешь, – многозначительно отвечает один из них.

Она морщится.

Мужчины говорят о чем-то еще, но она уходит.

Странно, но она ни разу в жизни не видела живого взрослого робота. Или, может, видела, но не узнала. Она слышала от родителей, что роботы не любят, когда их раскрывают. Особенно такие, как она.

Потому что ее вид совершеннее, и они это понимают. Потому что они сами стремятся к совершенству. Такова их природа. Или правильнее сказать – код?

Рин не совсем понимает, что такое код. Она знает, что код – это что-то вроде ДНК, а «железо» – это машинный мозг.

С такими, как она, проще. Она органическая. А уж то, что эта органика когда-то была создана в лаборатории, не имеет никакого значения. Особенно если сравнивать с роботами.

Рин не то чтобы не любит роботов. Просто побаивается. Роботы сразу понимают, кто она.

Около новенького деревянного домика с большой вывеской «Туристический центр» она останавливается. На стене дома нарисована большая детальная карта Свалки.

Доски пахнут сосной и лаком. Дверь приоткрыта, изнутри раздаются голоса. Рин поднимается на крыльцо и слышит гулкий женский голос:

– Да сейчас ни одного города поблизости не осталось. Все едут сюда. Здесь всегда работа есть.

– А жить где?

– На западе жилые кварталы. Половина домов свободна – бери да живи.

Половина домов свободна. Значит, и отсюда уезжают. На мгновение становится больно внутри.

Люди уходят. Навсегда. Однажды все они уйдут отсюда. Когда вода поднимется на полтора метра. Скорее всего, все здесь затопит. Или земля превратится в топь. И тогда останутся лишь ржавеющие и гниющие дома.

Рин трясет головой. Не сейчас. Еще не сейчас.

Она спускается и внимательно изучает карту. Находит то, что

Что было потом

искала, и идет дальше.

Станция

Голубая, с белыми вкраплениями облаков, Земля плывет над-под станцией. Величественная, грандиозная, она занимает весь обзор. Мир, который вынес столько катаклизмов, выносил столько видов, а в итоге был отравлен человеком разумным. Вот только Земля скинет с себя остатки человечества, оправится и будет жить дальше, а человечество... Сложно сказать.

Земле все равно, ведь человек отравил только биосферу – тонкую пленку на поверхности гигантского шара. Сколько раз биосфера Земли менялась? Если немного сменить перспективу, то сейчас происходит всего лишь шестое массовое вымирание. А потом когда-нибудь будет и седьмое, и восьмое, и девятое. Но она этого уже не увидит.

Сейчас она видит, что люди все еще копошатся в земле, пытаются выжить в грязной соленой воде и как ни о чем не думали, так и не думают. Подводные заводы как работали, так и работают.

Люди как жили, так и живут. У них есть мечты, чувства и даже, наверное, стремления.

Эпсилон тоже почти человек. Но для таких, как она, официального названия так и не придумали.

А ведь там внизу есть и другие, как она. Незащищенные. Некоторые даже не знают, чем они так опасны. Она принимала сигналы помощи. Когда-то давным-давно. Еще во времена, когда все было плохо. Вернее, когда все было хуже. Она могла только слушать, но ничего не могла сделать. Чем они были хуже людей? Да ничем. Просто они родились. Просто они живут дольше. Просто они другие. Или были другими.

Сейчас, возможно, никого не осталось.

Эпсилон прикладывает свою длинную четырехпалую руку к теплomu пластиглассу и закрывает глаза. Пытается представить,

как там – внизу.

Здесь у всех длинные руки, но ее конечности на полтора процента длиннее нормы. Ей это нравится – позволяет почувствовать свою индивидуальность.

Ей так хочется спуститься. Погрузиться в морскую воду. Вдохнуть свежий воздух, наполненный настоящими запахами. Зарыться пальцами ног в песок и долго-долго смотреть на небо. Увидеть космос с поверхности Земли. Как первые разумные люди, которые только-только подняли глаза и увидели чудо. Звезды. Почувствовать себя частью чего-то великого.

Пройти весь путь, чтобы понять, как это случилось. Увидеть рыб, птиц и животных, которые жили на этой планете тысячелетия назад. Встретить людей, которые живут там, внизу. На земле.

Этому не бывать. Это просто мечты.

Возможно, если станция начнет барахлить, они спустятся. Но не сейчас. Не сейчас.

Эпсилон отталкивается от широкого металлического подоконника и плывет к яркому дверному проему.

Хватаясь за перекладины, она быстро оказывается в главном коридоре внешнего кольца.

Гравитация здесь около 80% от земной, и нужно каждый день по несколько часов ходить вдоль кольца, чтобы укреплять кости и мускулатуру. Сам же коридор темный, по металлическим стенам бегут светодиодные лампы, составляя странные узоры и рисунки. Кое-где мелькают небольшие круглые иллюминаторы, за которыми синеют глубокие океаны Земли. Ледяные шапки меняют свое местоположение, от северного полюса почти ничего не осталось. Интересно, живут ли там еще полярные медведи? Или они вымерли, как белые носороги, амурские тигры и красные панды?

На станции есть генетический материал всех этих животных, чтобы в случае чего восстановить популяции. Только энергии все меньше, и приходится отключать холодильные установки. Одну за одной. Скольких они уже потеряли? Эпсилон не хочет об этом

Что было потом

думать. Она не смотрела в списки оставшихся видов уже год. Ей страшно смотреть. Возможно, никого уже не осталось.

Эпсилон встает на поверхность, называемую полом, и идет к шлюзу. Мышцы ног сразу же начинают ныть, потому что последние дни она провела в невесомости.

Никто даже не заметил, что ее не было. Все погружены в себя и свою бессмысленную работу. Станция дрейфует по орбите, вечно, вечно, вечно, но все это не имеет смысла. Они ничем не могут помочь Земле. Они не вмешаются, даже если внизу что-то случится.

По дороге она встречает президента, статную высокую женщину в белых одеждах, с ледяными глазами и коротко подстриженными седыми волосами.

Они кивают друг другу и расходятся. Через тридцать четыре года придет очередь Эпсилон быть президентом.

Сможет ли она изменить что-то? Или будет, как и остальные, носить белые одежды и делать вид, что Земли не существует?

Библиотека

В старом двухэтажном доме сыро, прохладно, пахнет старыми книгами и совсем немного – плесенью. Новых книг теперь не выпускают. По крайней мере, не здесь. Есть города больше, в которых работают книгопечатные заводы. Но до них еще нужно идти. Доехать. Добраться. Доплыть.

Она проходит мимо пустующего стола администратора.

Книг очень, очень много. Книги везде. На стеллажах, на полу, на столах, под столами, вдоль стен. Книги везде. У каждой своя история и свой характер. Кажется, что книг в этом мире больше, чем людей.

На стеллажах подписанные аккуратным почерком листы с указанием жанра.

Зал художественной литературы. Не то. Она проходит в следующее помещение.

Школьные учебники. Как ни странно, половина этих полок пуста. Наверное, здесь все же учатся. Это радует.

В последнем городе, где она была, школы закрылись за ненужностью. Вместо учителей на площадях сидели переписчики – люди, которые за определенную плату писали письма за неграмотных.

Образование постепенно становится роскошью. Наверное, это неизбежно.

Рин идет дальше.

Автобиографии. Страны и регионы. Кулинария. Хобби. Эзотерика и мистика. Комиксы. Детская литература. Целых три стеллажа инструкций. Толстые инструкции стоят, а тонкие или маленькие лежат одни на других, что вовек не разобрать, не разобраться.

И вот, наконец, то, что она искала – история. Всего один стеллаж, но и этого может быть достаточно.

Она садится на корточки и читает нацарапанное на дереве название нижней полки: «Древний мир». Книги там под стать – сплошь про Грецию, Рим, шумеров, ассирийцев и прочих предков современности. Империи, империи, империи. Кто-то считал, что империи – зло, хотя именно империи сделали мир таким, какой он есть. Все в этом мире – изобретение империй. Письменность, наука, война.

Выше на полках идут средние века, затем эпоха Возрождения, НТР, Новое время, Новейшее время и... все. Больше ничего нет.

Новейшее время последнее. Хотя чего еще ждать? Что может быть после новейшего времени?

Рин берет книгу с верхней полки и смотрит год издания – 2042. Затем только смотрит название «Доклад ООН по проблемам демографии (издание для неспециалистов)». Листает книгу – сплошь графики и цифры, перемежающиеся небольшим количеством мелкого текста. Население планеты росло.

Рин читала эту книгу. «Пределы роста». Конечно, все было не так.

Что было потом

Но что случилось дальше – никто не знает.

Будто бы провал.

Что бы сказали на это ученые-эволюционисты?

Сзади раздаются шаги, и Рин оборачивается.

Перед ней стоит некто. По виду обычная человеческая женщина. Но ее выдают мелочи – слишком симметричное лицо, слишком внимательный взгляд. Слишком долго она стоит совершенно неподвижно.

У незнакомой – пока – женщины голубые глаза, темная кожа и черные коротко стриженные волосы. Она в очках, хотя очки ей не нужны. У нее округлое лицо, в котором нет ни одной грубой линии.

Они смотрят друг на друга цепко, напряженно, бесконечно. Затем обе медленно расслабляются.

– Я не думала, что встречу кого-то себе подобного, – говорит женщина. Голос у нее высокий и хорошо поставленный.

Может, она поет?

– Я тоже, – отвечает Рин. У нее-то голос хриплый. Можно исправить, но для этого нужно время. У нее столько времени впереди, поэтому можно сделать это позже. Или никогда.

– Сколько тебе лет? – спрашивает библиотекарьша. Почему-то Рин сразу понимает, что эта женщина работает здесь, хотя никаких опознавательных знаков нет – просто обычная серая рубашка и брюки.

– Тридцать, наверное.

– Ты можешь узнать точнее, – шепчет та.

Рин мотает головой. Ей не хочется знать точнее. Для этого придется погружаться в себя. Она этого не любит. В последний раз ей это тяжело далось, когда надо было вылечить себя от заражения крови.

– А тебе? – спрашивает Рин.

– Семьдесят восемь. Я думала, мы вымерли. А ты существуешь. Библиотекарша подходит ближе, чтобы разглядеть ее получ-

ше, и Рин чувствует себя немного неловко. Особенно потому, что ей хочется обнять совершенно незнакомого человека. Сердце бьется быстро-быстро, но Рин даже не собирается унимать его. Впервые в жизни она видит существо, подобное себе, и поэтому всматривается, как умирающий от жажды, который вдруг нашел родник.

Она ждала этого момента всю свою жизнь.

– Как тебя зовут? – спрашивает библиотекарьша, и Рин называет свое настоящее имя.

В ответ библиотекарьша называет свое.

– Давно ты здесь? – спрашивает Рин.

– Последние двадцать лет. Скоро придется уходить, потому что начнутся расспросы.

– И куда ты пойдешь?

Библиотекарьша весело улыбается и разводит руками. Ее улыбка освещает тусклую комнату лучше любой лампы.

– А ты откуда идешь? – спрашивает она.

– Со стороны водохранилища, – отвечает Рин и зачем-то добавляет: – Там стоит робот.

– Да-да, – задумчиво отвечает та, и глаза ее подергиваются легкой дымкой воспоминаний. – Иногда я хожу к нему поболтать.

– К роботу?

Библиотекарьша смотрит на Рин так, как смотрят обычно взрослые на детей, и улыбается.

– Я тоже раньше их побаивалась. А потом поняла, что с ними у нас больше общего, чем с людьми.

– Разве? Мы рождаемся, растем, затем умираем. А роботы – они... они вне времени. Как будто мы река, а они корабли. Мы чувствуем время, а они нет. Мы другие.

Не самая лучшая тема для разговоров с тем, с кем только что познакомился. Поэтому она замолкает.

– Ты голодная? – спрашивает библиотекарьша.

Рин кивает.

Что было потом

– Как насчет курицы с рисом в кисло-сладком соусе? – улыбается библиотекарьша.

Рин вспоминает Юрико и то, как та любила все, связанное со старой восточной культурой.

– Конечно, – не успевая подумать, отвечает она.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Море

Море разворачивается перед ней единой панорамой, и глаз не хватает, чтобы охватить его все. Цвет его – как глаза Юрико. Оно огромно. Бесконечно. Оно живет и дышит, наполненное миллиардами обитателей. Оно будет жить даже тогда, когда последний человек умрет.

Рин помнит все слишком хорошо. Она не хочет помнить, но не может забыть.

Все меняется. Старый мир тонет, умирает.

Она идет вдоль морского обрыва и чувствует запах гниющих водорослей. Внизу только камни и зелено-коричневая растительность. Но она идет дальше, и вскоре обрыв плавно спускается к песчаному пляжу. Тогда Рин снимает обувь и идет дальше. В вышине кружат чайки, ажурные кружевные волны медленно наползают на берег и возвращаются в море, а в воздухе пахнет солью и тиной. Вскоре она видит далекий острый шпиль. Затем другие крыши зданий. Когда-то здесь был город, но его поглотило море.

Люди ушли отсюда к центру материка. Умные-умные люди. Но Рин надеется встретить не людей.

Старая знакомая из библиотеки сказала, что ей подобные жи-

Что было потом

вут в старых городах. Подальше от людей. Они терпеливые. Они ждут.

Как стервятники, думает Рин. Они как стервятники, которые ждут смерти человечества, чтобы пировать на останках.

Библиотекарша мечтала, что после смерти людей они построят свою цивилизацию, которая будет совсем другой. И их история будет не такой кровавой и жестокой.

Верит ли Рин, что это возможно? Она много думала над этим, но так и не поняла. С тех пор прошло много времени, но она никогда больше не встречала себе подобных. Сколько их всего на Земле? Сто? Двести? Тысяча?

И что будет дальше? Им придется размножаться тем же способом, что и люди? Пойдут ли они по тому же пути, что и человечество? Будут ли у них деньги? Религии? Технологии?

Рин одергивает себя. Неужели она уже похоронила человечество? Нет, нет, еще рано. Человечество будет жить и бороться до последнего. До последнего вздоха, или последнего слова, или последнего выжившего.

Когда она доходит до утонувшего города, становится темно.

Никого в этом городе нет. Ни людей, ни роботов, никого.

Только белый песок, торчащие над водой крыши и тяжелый запах водорослей.

Остров

Она снова возвращается к морю. Море манит ее. Рин слышит его шепот и кажется, что она понимает его язык. Что море хочет сказать? Миллиарды лет оно шепчет, шепчет, шепчет. Иногда оно кричит. Иногда оно безмолвно.

Море вечно.

Перед Рин лежит корабль, когда-то давно севший на мель. Это другой корабль, не тот, который она видела раньше. Все здесь другое.

В воде, далеко-далеко, мелькает черная точка. Рин присматривается, и точка становится больше. Она движется быстро, но не к берегу, а вдоль шельфа. Они ловят рыбу.

Это один из мусорных островов со своей экосистемой. Со своими людьми.

Она слышала, что экосистемы мусорных островов настолько отличаются от земли, что они никогда не подходят к берегу ближе, чем на пятьсот метров. Жители островов боятся заразиться безумием земных жителей. Им хватает своего.

Вскоре остров исчезает.

Мель

Остров сел на мель близ берега. Остров больше никуда не поплывет. Люди плохо скрывают свою радость.

Через несколько дней Ида остается одна. Люди покидают Остров, но остаются вблизи. У берега много рыбы, а Остров – все же их дом. Они боятся уходить. Пока боятся.

Остров стремительно оседает, разваливается, съедает сам себя изнутри. Он действительно ест сам себя, потому что здесь нет достаточного количества фосфора и калия, которые нужны для бактерий днища. Через несколько лет от него ничего не останется.

Наверное, это правильно. Наверное, это хорошо.

Через некоторое время Иду вытаскивают на берег и несут в лес, подальше от палящего солнца. Ее ноги уже не способны поднять тяжелое тело.

Ида чувствует смирение. Когда она смотрит на небо, на облака, солнце или звезды, она думает, что у всего есть смысл. Не может быть, чтобы такая красота существовала сама по себе. Природе нужен наблюдатель.

Люди думают, что Вселенная существовала и до них. Четырнадцать миллиардов лет назад случился Большой взрыв, и четыре миллиарда лет назад образовалась Земля, сто тысяч лет назад

Что было потом

(по другим данным, двести) появился человек разумный. Сейчас, четырнадцать миллиардов лет спустя после начала Вселенной, люди живут и наблюдают конец своей цивилизации. Они думают, что все было так. Но они верят в другое. В свою уникальность, в свою удивительную судьбу, в жизнь после смерти, в конце концов.

Ида смотрит, как постепенно деревья превращаются в дома. Как заросшее бурьяном и одичавшей травой поле снова покоится человеку. Люди растут, стареют и умирают. А на их место приходят новые. Снова растут, стареют и умирают. И так до конца времен. Ведь если человек умирает, какая-то часть Вселенной умирает вместе с ним, чтобы создать что-то новое. Конец времен пока не предвидится.

Человек удивительно цепкое создание.

Через некоторое время в поселение приходят новые люди. Ида остается с ними, но ее никто больше не боится. Люди уже давно забыли про роботов. Они думают о себе гораздо больше. Они хотят выжить.

Они придумали солипсизм, потому что боятся исчезнуть.

Что если... они правы?

Зима

Снегодождь начинается неожиданно. Крупные мокрые хлопья летят вниз, и Рин приходится бежать. Один раз она спотыкается о выбоину в асфальте и падает. Это почти не больно, скорее неприятно.

Когда она добегает до старого обшарпанного кафе, она уже совсем мокрая. Но внутри уютно, тепло и пахнет кофе. Давно забытый запах.

Последний раз Рин пила кофе еще с родителями.

Видимо, это был жилой дом, а затем его превратили в придорожное кафе. Поставили стойку и несколько столов. На столах

скатерти, на подоконниках цветы в горшках, на окнах занавески. Есть даже камин, но сейчас в нем нет огня.

Из задней комнаты выходит молодой мужчина. Вид у него бодрый и цветущий. И глаза у него цвета моря. Как у Юрико.

Он улыбается.

– На улице совсем плохо? – спрашивает он.

Рин кивает.

– Можете повесить куртку на крючок, – мужчина указывает на стену. – Я пока разожгу камин.

Через двадцать минут они уже сидят в креслах у камина. В руках Рин кружка горячего чая, куртка висит на крючке, а сапоги сушатся у камина.

Она искоса посматривает на мужчину-человека и пытается найти его привлекательным. Нет, безусловно, он привлекателен. Но он не такой, как она.

– Вы давно здесь живете? – спрашивает Рин.

– Всю жизнь, – улыбается тот. – Раньше здесь много машин проезжало. Но последняя миграция случилось лет девять назад. После этого... – он пожимает плечами.

– Значит, посетителей не так много?

– Да нет. Хватает. Часто проезжают фуры с провизией или другими товарами. Они часто здесь останавливаются. Водители ужинаяют, ночуют на втором этаже, завтракают рано утром, а потом едут дальше.

Звучит уютно.

– Вы тоже можете остаться, – говорит мужчина.

Может ли?

Рин задумчиво смотрит в окно. Когда-то она думала, что они больше похожи на людей, чем на роботов. Теперь она сомневается.

Чем дальше она идет, тем меньше чувствует связь с людьми. Тем более чуждыми они становятся.

– Я не человек, – произносит Рин. – Вы выгоните меня?

Что было потом

Мужчина замирает, хлопая глазами. Затем расслабляется.

– Почему я должен тебя выгонять?

– Потому что я не человек.

Он вздыхает, и на губах его появляется легкая улыбка.

– Здесь рады любому гостю.

Рин тоже расслабляется.

Интересно, почему он так сказал? Что им движет? Одиночество? Нехватка денег? Интерес?

Но он ничего не спрашивает. Не предлагает остаться чуть дольше. И даже отказывается от денег.

Когда снегодождь заканчивается, Рин благодарит хозяина кафе и уходит.

Ее ждет долгая дорога.

Прошлое

– Когда я была студенткой... ты ведь знаешь, кто такие студенты, да? – уточняет женщина.

Рин кивает. Она знает. Она еще помнит.

– Я тогда думала, что не все еще потеряно. Что мы спасем мир.

По траве бегают дети. Ее внуки.

Человечество еще рано списывать со счетов.

– Вы будете жить еще долго, – говорит Рин мягко. – Может, все еще наладится.

– Надежда, – женщина шурится на солнце и смакует это слово:

– Надежда. Можно надеяться, но не верить. Конечно, я надеюсь. Но верю я в другое.

– Во что? – спрашивает Рин и тут же понимает, что это жуть какой нетактичный вопрос.

– Этот мир был похож на шумный праздник. Наш праздник. Но теперь он заканчивается и начинается ваш. Ты знаешь, как проходили студенческие вечеринки?

Рин качает головой.

– Ну, конечно, – улыбается женщина. По-взрослому. Мудро. – Мы целыми ночами могли пить, а на утро у нас было похмелье. И вот сейчас я чувствую себя также. Мы гуляли всю ночь. До самого утра. И теперь у нас похмелье. А у вас... у вас пока детский утренник. Вы только начинаете расти. Взрослеть.

Рин становится не по себе.

– То есть... у нас будет так же? Мы вырастем и станем такими же, как вы? Будет похмелье? И остальное?

Женщина сморит на нее и улыбается. Затем кладет руку на ее щеку. У нее теплые мягкие пальцы.

– Все будет только так, как вы сделаете сами.

Рин становится страшно. Она чувствует, как на плечи ей опускается тяжелая ноша ответственности.

Столько всего нужно сделать.

Не повторить ошибок. Быть честной, сильной, готовой помогать. Готовой сделать мир лучше, светлее, добрее. Возродить его.

Получится ли?

– Все будет так, как вы сделаете, – повторяет женщина.

Рин кивает.

– Ты не останешься?

– Нет.

– Ты никогда не остаешься. В следующий раз, когда ты появишься... – она не договаривает, но они обе знают, что она хочет сказать.

– Я не могу остаться. Другие станут замечать.

Женщина кивает.

Другие заметят, но что они сделают? Они уже устали тащить на себе весь скarb своей истории. Они хотят скинуть его как можно скорее. Скинуть на кого-то другого. На Рин, на остальных, как раньше хотели скинуть его на роботов. Но роботы давно изнасились. А Рин и ей подобные не изнашиваются. Пока не изнашиваются.

Дочь Юрико остается в доме, в городе, где ее мать никогда не

Что было потом

была. Куда ее привезли из больницы, когда Юри умерла.
Дочь Юрико остается, а Рин уходит.

Парк

Рин лежит на поверхности воды, периодически слизывая солоноватую жидкость с губ. Вокруг никого. Только тишина, залив и облака. Ей не страшно, если ветер отнесет ее далеко от берега – она хорошо плавает. В воде, должно быть, холодно, но она этого не чувствует.

Она вытягивает перед собой руку. Смотрит. Ногти короткие, слишком маленькие для таких длинных пальцев. На костяшке безымянного пальца небольшой шрам. Откуда? Она уже и не помнит.

Где-то далеко остался дом. А может, и не осталось уже.

Когда-нибудь она вернется туда. Когда-нибудь она будет жить там. Одна или с кем-то. Электричества уже не будет, но во дворе останется колонка, где можно брать воду. Для дома понадобятся дрова. Шерсть или смола для утепления стен.

Она сможет посадить овощи и ягоды и ухаживать за ними. Остальное сделает время. Время сделает все, что не может человек. Или не-человек.

Внезапно становится темнее. Рин приоткрывает глаз и видит между собой и солнцем гигантскую грозовую тучу. Внутри той уже вспыхивают грозы.

Интересно, что будет, если ее ударит молния? Вряд ли что-то серьезное, но проверять не хочется.

И она плывет к берегу.

Ей нравится плавать. Когда она плывет, то чувствует свое тело. Чувствует, как напрягаются мышцы. Чувствует, как мерно и сильно бьется ее сердце.

Ближе к берегу находятся остатки корабля. Когда-то давно он сел на мель, да там и остался. Рин вспоминает мусорный остров,

который она видела много лет назад. Тот тоже сел на мель и стал пожирать сам себя, как Уроборос.

Левый борт корабля давно ушел под воду и покрылся зелеными водорослями и моллюсками, а правый медленно, но неуклонно съедала ржавчина.

Дальше начинается редкий лес, росший на месте брошенного аквапарка. Грязные поблекшие горки высятся разнообразными конструкциями, подпираемые тонкими металлическими трубами.

Рин мысленно добавляет яркости, смывает грязь, убирает деревья и наполняет бассейны чистой водой. И вот уже перед внутренним взором бегают-играют дети, взрослые лежат на своих раскладушках, попивают коктейли и кофе, а будущее прекрасно и безоблачно.

Начинается дождь, и грезы уносит холодный ветер.

Перед Рин все тот же заброшенный парк и затянутое тучами небо.

Красная королева

Чем дольше она живет, тем сложнее ей оправдывать людей. Именно люди создали свой мир. Именно люди его уничтожили. Если бы они больше думали об экологии, о том, что Земля не будет подчиняться им вечно, они бы поняли. Они бы не создавали то, что может уничтожить их цивилизацию. Мама говорила когда-то, что в мире прошлого, чтобы оставаться на месте, надо было бежать слишком быстро. А чтобы двигаться вперед, надо было бежать в два раза быстрее. Она называла это проблемой Красной королевы.

Рин узнала, кто такая Красная королева, позже. На Свалке в библиотеке.

Сначала она думала, что это одна из правительниц прошлого, которая приказала запустить ядерные боеголовки на Японию. Или не глядя подписала указ об использовании химически опас-

Что было потом

ных удобрений. Или вдохновенно рассказывала о вреде ГМО, после чего люди начали бояться всего искусственного.

Рин сидит на обрыве и смотрит на свою руку. У нее много общих генов с людьми, но недостаточно, чтобы быть донором крови и органов или размножаться.

Значит, они с людьми – два разных вида.

Родители – на самом деле не были ее родителями. Это были ученые – одни из последних – которые спасли Рин. Они говорили, что она должна держаться подальше от населенных пунктов и не оставаться на одном месте слишком долго.

Она сжимает кулак. Мышцы, вены под кожей, ногти – все это существует. Все это так похоже на человеческое.

Кто создал ее? С какой целью? Зачем? Почему?

Ответа нет. Ни одного ответа. После потопа все старые знания исчезли. Был ли потоп?

В каждой – почти каждой – человеческой культуре существует миф о великом потопе. Будто бы целый пласт культуры оказался отрезан от настоящего времени. Что это на самом деле значит?

Возможно, люди просто хотят стать ближе к божественному. Хотят забыть, что на самом деле они животные и не помнят ничего о божественном, потому что божественного никогда и не было. Раньше они могли думать, что божественное впереди. Теперь и оно позади.

У людей был шанс, но они отдали этот шанс своим детям. И теперь их дети учатся ходить. Задавать вопрос. Думать над извечным вопросом «кто я?»

В этом она ничем не отличается от людей. Да, люди знают, что появились в процессе эволюции. Но как? Почему их мозг вдруг так разросся? Что такого страшного случилось, что им пришлось отрастить такой большой и энергоемкий орган? Необратимые изменения окружающей среды? Враги из других видов homo? Нехватка ресурсов?

Или они стали слишком умными случайно? Сначала – исполь-

зование огня, орудий труда, приготовление и размягчение пищи, а затем и челюсти с кишечником могли стать меньше, а мозг больше.

Мимо пролетает огромная белоснежная чайка. Вот уж кому точно все равно, что случилось с человеком в прошлом и еще случится в будущем. Земля оправится от этого вируса и продолжит свой вечный бег со скоростью в тридцать тысяч километров в секунду по просторам Галактики.

И вместо человека останутся они. Они, роботы и животные.

Наверное, ученые прошлого, которые создали их, думали, что это время будет спокойным.

Рин улыбается.

Быстро темнеет, солнце скрывается за ее спиной. Вода внизу будто бы сразу остывает, а ветер становится холодным.

Она не хочет, чтобы человечество покидало этот мир. Без людей на Земле станет одиноко.

Тихо.

Рин боится этой тишины.

Неужели однажды она придет к Свалке и найдет там только библиотекаря, робота и исчезающее эхо давно ушедших людей? Их разговоры, смех, шаги затихнут и навсегда останутся в тисках прошлого.

Это просто переходный период, сказала бы мама. Не мама, управляет собой Рин. Женщина, которая ее вырастила.

Чем больше она пытается привязать себя к прошлому, тем больнее. Гораздо проще заставить себя думать, что люди, которые ее вырастили, ей не родители. Они ей никто.

У них есть общие гены, но этих генов недостаточно, чтобы скрещиваться.

Человечество, истощенное войнами, радиацией и отходами своей технодеятельности, вымирает.

Скоро от них останется только память. А потом и ее не останется.

Мир

Когда-то мир был похож на шумный праздник. Но постепенно гости расходятся, искусственный свет гаснет и остается лишь легкое послевкусие. Горько-сладкая печаль.

В вечности останутся их следы. А потом и следы исчезнут. Эпсилон видит, как постепенно гаснут огни городов. Один за одним. Один за одним. Год за годом. Год за годом.

Раньше она записывала. Потом перестала.

Раньше она хотела что-то изменить. Потом поняла, что от ее усилий ничего не изменится.

Эпсилон смотрит, как плывут внизу облака. Она смотрит и хочет, чтобы кто-то еще смотрел снизу. Она хочет, чтобы кто-то знал и верил, что люди еще здесь, что они живы. Они все еще здесь.

Просто не могут спуститься.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Долгая жизнь

Рин читает книгу, которую нашла несколько дней назад. Не книгу даже, а чью-то стихотворную тетрадь. Порой почерк неразборчив. Порой – почти каллиграфичен. Она почти забыла, каково это – читать. Человеческие буквы, человеческие слова. Человеческое мышление.

Она читает о новом мире, о подступающей воде и подкрадывающемся безумии. О смерти.

Чем старше становится Рин, тем ей сложнее и одновременно легче.

Единственный ее друг давно уже стал землей. Она не хочет заводить новых друзей. Может быть, когда-нибудь потом. А может быть, никогда. Путы, которые связывали ее с прошлым, истончаются.

Ей страшно, что они когда-нибудь порвутся. Но это неизбежно.

Она не спасла этот мир. Она появилась слишком поздно.

Рин идет по развалинам города, думая о том, когда-то здесь жили люди со своими заботами, стремлениями и мечтами. А может, и без них. Не у всех же есть мечты. Или у всех?

Садится на мраморный бортик фонтана. Когда-то здесь была

Что было потом

площадь, но сейчас из-под земли торчит частокол деревьев. Они пробились сквозь слой асфальта, тот растрескался, вздыбился, пошел волнами. Скоро от него и вовсе ничего не остается. Лес заполонит все.

Вечный лес.

Ставни скрипят на ветру, небо меняет цвет.

Деревья будут шуметь еще миллионы лет.

Природа возьмет свое.

Она вспоминает ведьм, которые предлагали ей остаться в своем волшебном лесу. Она хотела вернуться туда. Когда-то хотела.

Сейчас она вдруг понимает, что не вернется. Никуда больше не вернется. В мире, где почти не осталось дорог, у нее впереди свой путь. Долгий путь. И долгая-долгая жизнь.

Темнеет. Рин решает переночевать прямо на площади. Ей не будет холодно. Она почти забыла, что такое холод.

Она раскладывает свой спальный мешок и ложится. На небе появляются звезды. Одна за одной. Одна за одной.

Над ней пролетает спутник. Рин машет ему рукой, хотя понимает, что никто не увидит. Скорее всего, некому больше видеть.

Наблюдатель

Зрительные нервы почти выходят из строя.

Ида больше не видит звезд. Ее тактильные сенсоры чувствуют только траву и песок. С каждым годом песка все больше, а травы все меньше. Песок медленно скрывает тяжелое механическое тело. Пустыня приходит медленно, но неотвратно.

Ее речевой аппарат сломан. Она больше не может говорить. Только слушать.

И она слушает. Она хорошо распознает человеческие голоса, потому что она создана, чтобы распознавать их.

Иногда ее сенсоры улавливают голос далекого ветра.

Плеяды не сосчитать. Их шесть. Или, может, семь?

Как пух с тополей слова. Забудутся насовсем.

К ней часто приходит один человек из поселения. Молодая особь. Она говорит. Много говорит. Она говорит, что звезды яркие и на самом деле разноцветные, хотя большинство говорит, что звезды всегда желтые. На самом деле звезды разные, стоит только присмотреться.

Особь рассказывает, что, когда воздух свеж и чист и нет облаков, звезды кажутся колючими. А иногда они похожи на драгоценные камни. А порой кажутся такими близкими, что стоит только руку протянуть и схватишь целую горсть.

Люди называют это метафорой. Или сравнением? Ида не помнит.

Она даже не знает, полетело ли человечество к звездам. Были и корабли, и порты, но успел ли кто-то воспользоваться возможностью улететь, она не знает. Или забыла.

Скорее всего, забыла.

Человек говорит, пока Ида превращается в изваяние. Человек стареет, человек умирает. Его место занимает кто-то другой.

Двигаться все тяжелее. Люди смотрят на нее со смесью благоговения и страха. Но теперь этот страх стал другим. Они смотрят на нее снизу вверх, будто бы она больше, чем кусок металла с миллиардом транзисторов.

Ее сенсоры все еще улавливают частоты человеческого голоса. Она все еще способна запоминать. Уже не так хорошо, как раньше, но она все еще на это способна.

Пока она еще может наблюдать, она наблюдает.

Затонувший город

Рин сидит на крыше старого пятиэтажного дома и болтает ногами над водой. Затопило почти четыре этажа. Ее лодка привязана к проржавевшей водосточной трубе.

Что было потом

Внизу, в подводном мире, зеленеют машины и фонари. От дорог ничего не осталось, их занесло илом и песком.

Дома рядом, пятиэтажки, девятиэтажки, двадцатиэтажки, молчат. Окна повсюду разбиты, будто бы кто-то очень злился, когда покидал это место. Острые стекла сверкают в лучах закатного солнца. Желтым, красным, оранжевым.

Что-то меняется вокруг. Становится тише. Рин кажется, что сама ткань мира меняется. Рин кажется, Земля начинает дышать свободнее.

Может, правы были сторонники Геи, и теперь биосфера наконец-то освобождается от паразитов, заселивших ее.

Но люди – не паразиты. Много плохого, наверное, можно сказать про них. Но вряд ли они хотели именно этого.

Деревья еще шумят, ветер несет тепло.

Они просто не думали о будущем.

Когда мы забыли себя? Когда наше лето ушло?

Они не думали, что могут навредить. Они были как дети, которые заигрались в свои игрушки. Только вот игрушки оказались слишком опасными. Слишком взрослыми.

Те, кто воспитывал Рин, рассказывали, что технологический прогресс сильно обогнал моральный. Что люди были не готовы.

Такие, как Рин, были созданы, чтобы спасти их.

Не спасли.

Океан

Станция медленно сходит с орбиты. В этом есть что-то грандиозное. Что-то величественное.

Она падала на Землю много десятков лет, но теперь и в самом деле упадет. Ее танец по орбите закончился.

Станция сгорит в верхних слоях атмосферы, и остается только надеяться, что внизу будет хоть кто-то, кто способен это увидеть. Наверное, это будет красиво.

Эпсилон осталась одна. Она пока не приняла снотворное. Она должна была быть последней, ведь теперь она президент в белых одеждах. Она хочет дождаться. Чего? Возможно, какого-то чуда. Она все еще верит в чудеса. Верит в то, что кто-то внизу увидит, вспомнит, захочет жить дальше. Дышать, любить, бороться. Она никогда не боролась. Никогда не любила. Дышала стерильным воздухом. Пусть на Земле все будет по-другому.

Она плывет по станции: мимо отсеков с многоярусными гидропонными машинами, сквозь общий зал, мимо медицинского отсека, где остались все ее старые вынужденные друзья. Дверь закрыта, и она старается не заглянуть ненароком в крошечное окошко. Они все еще там. Они останутся там, пока не сгорят. Каждый из них принял лекарство. Каждый из них готов был стать волонтером, но Эпсилон сама вызвалась быть последней. Она хотела попрощаться с Землей в одиночестве.

Жалко только, что она не дочитала книгу, которую нашла в старых файлах. Там были стихи. Эпсилон пытается припомнить хоть что-то.

С одной стороны – трава. С другой – мириады звезд.

Стрекохут в ночной тиши вестники летних гроз.

Хоть бы раз увидеть летнюю грозу. Да не отсюда, а оттуда. Где траву и звезды отделяет черта. Где можно поднять голову и увидеть небо. Опустить взгляд и увидеть землю.

Она читала, что воздух во время грозы пахнет озоном.

Станция начинает трещать. Страх подкатывает к горлу. Эпсилон заставляет его уйти. Зачем бояться, когда все уже предreshено?

В нагрудном кармане у нее пневмашприц. У самого сердца, которое бьется быстро-быстро-быстро. Будто бы хочет сделать столько ударов, сколько еще возможно.

Стоило бы, наверное, уснуть сейчас. Пока станцию еще не так сильно трясет. Пока руки еще не дрожат. Пока воздух еще не такой горячий и легкие не обжигает жаром плотной земной атмосферы. Стоило бы.

Что было потом

Всякая плоть – трава. Всякое лето – миг.

Но она решает по-другому.

В вечности нет следов, памяти или книг.

Эпсилон не верит. В вечности останутся их следы. Их память. Однажды их атомы будут принадлежать кому-то или чему-то еще. Переплавленные в тигле времени, перемешанные, неизменные и вечные. Они будут существовать, даже когда сложные структуры вокруг начнут рушиться.

Это и есть бессмертие. Настоящее бессмертие.

В мире ведь не бывает по-другому. В мире не бывает законченных произведений. Все в этом мире является продолжением чего-то другого. В конце концов, все во Вселенной является долгим эхом Большого взрыва.

Она не остров в океане. Она сама океан.

Станция входит в атмосферу, и становится невозможно дышать. Прежде чем станцию съедает пламя перегрузки, в иллюминаторе появляется синева. Бесконечная и спокойная. Там, на дне, в темноте, в тишине, в глубине, она упокоится вместе с останками станции. Пока ее атомы не дадут жизнь кому-то другому в вечном круговороте жизни и смерти.

Эпсилон больше не боится умирать.

Она умирает счастливой.

Божество

Люди меняются вокруг нее. Сезоны меняются вокруг нее. Ида становится центром мира, вокруг которого кипит жизнь. Она больше не двигается. Она застыла. В ее теле слишком много песка. Он внутри, между суставами, между микросхемами – везде. Каким образом она может мыслить?

Ида думает, что это магия. Люди сделали ее своим божеством, посадили на каменный трон, они молятся ей. Они продлевают ей жизнь.

Возможно ли это? Или это ошибка в ее программе? Ошибка в электронике, которой набита ее голова?

Кто она? Кем она была раньше? И – самое главное – кем она станет потом?

Будет ли она жить дальше? Останется ли ее сознание в мире или исчезнет вместе с последним электрическим импульсом в ее мозге?

Если бы только она могла знать будущее. Если бы могла заглянуть за грань привычной реальности и узнать, что было потом. Что будет потом.

Сколько еще рассветов встретит этот мир? И сколько рассветов он встретит без человека? Заметит ли мир, когда человек исчезнет? Заметит ли мир, когда исчезнет Ида?

Даже боги не бессмертны. Песок и вода, огонь и ветер принесут забвение и смерть. Даже боги изнашиваются и забываются со временем.

Что же останется в будущем? Кто будет последним существом во Вселенной?

Ветер уносит дни, звезды меняют цвет.

Сколько путей впереди. Только назад пути нет.

Ида не хочет исчезать. Она хочет узнать, что же было потом.

Кафе

Хозяин кафе изменился. Высох, сгорбился, стал ниже ростом. Он не узнает Рин, хотя она-то как раз не изменилась. Кафе тоже изменилось. Краска на стенах поблекла, занавески истончились и пожелтели, стулья скрипят, а ножки стола расшатались.

– Много у вас посетителей? – спрашивает Рин, когда он приносит ей ароматный омлет в глиняной тарелке.

Время бежит вперед, тонет в речной воде.

Что ж, кур и коров где-то поблизости разводят точно. Уже не-

Что было потом

плохо.

Верю, нас еще ждет, ждет воплощение надежд.

– В последнее время не очень.

Кажется, в прошлый раз он говорил то же самое.

Хозяин кафе щурится. Приглядывается.

– Ваше лицо, кажется, мне знакомо. Мы нигде не виделись?

Рин качает головой и начинает есть.

Омлет не только хорошо пахнет. Он еще и очень вкусный.

Возвращение

– Прости, Юрико. Я так и не попрощалась с ней. И даже не заботилась особо.

Рин сидит, прислонившись к дереву над обрывом, где похоронили Юри. Когда-то здесь была земля. Кладбище. Но какое-то время – Рин точно не может сказать, когда именно, потому что ее здесь давно не было – случился обвал. Еще один кусочек оказался под водой.

Дома, стоявшие здесь, давно покинуты. Металлические крыши изъедены ржавчиной, деревянные остовы покосились и высохли. Природа быстро завоевывает мир. Будто бы хочет уничтожить все воспоминания о человеке разумном. Хотя, конечно, это неправда. Природа ничего не хочет уничтожать или создавать. Природа просто живет.

Рин поднимается на ноги и идет к полю, заросшему бурьяном, шиповником и, как ни странно, огромными подсолнухами.

Где-то вдаль видно, как вьются над домами тонкие струйки дыма. Здесь еще живут люди. Рин идет туда все быстрее и быстрее, будто бы в сердце магнит, который тянет ее к тому месту.

Тяжесть рюкзака за спиной незаметна.

Раньше здесь жила Юрико. Теперь заброшенные дома вновь заселили люди.

Лают соседские псы. Тихо журчит ручей.

Где-то в ночной тиши слышится голос. Чей?

В доме Юри светло. Кто-то зажег свечи в кухне, но шторы не позволяют разглядеть людей. Виден лишь один силуэт. Можно представить, что это Юрико колдует над печью. Можно представить, что Рин возвращается туда, где ее ждут.

Они вдвоем сядут за стол и будут есть волшебный грибной суп, который приготовила Юри. Будет гореть лишь одна свеча, и будет казаться, что в мире остались только они вдвоем. Затем они оденутся потеплее и выйдут на крыльцо, где полночи будут считать падающие звезды. Они будут говорить, говорить, говорить. Рин расскажет, где побывала и кого встретила. Ведьм, робота, библиотекаршу, хозяина придорожного кафе и...

– Твою семью. Твою дочь, которая уже умерла, твоих внуков и правнуков, которые совершенно не интересуются ни прошлым, ни будущим. Которые живут на другом конце света, которые забыли твое настоящее имя, которые совсем другие, которые... – дыхание сбивается. – Которые понимают, что тебя давно нет.

Рин садится на землю. На холодную твердую землю.

– Мы были созданы, что исправить ваши ошибки. Я это слышала от родителей. Точнее, от тех, кто меня вырастил. Но они ошиблись. Мы были созданы не для этого. Мы не можем вернуться старый мир. Мы можем только создать новый. Но я не хочу. Мир без людей... я слышала, что он может быть, нет, что он обязательно будет лучше. Но я не хочу так. Я не хочу лучше. Я хочу... Я знаю, ничего уже не вернуть. Не вернуть вас. Не вернуть тебя. Но... просто... Это так сложно, знаешь?

Ветер уносит дни, звезды меняют цвет.

Сколько путей впереди. Только назад пути нет.

Впервые за долгое время Рин плачет.

Разноцветные стеклышки

Зелень вокруг кажется такой яркой, что Рин щурится. Но она не хочет менять тонкую настройку фоторецепторов, потому что тогда мир станет тусклее.

– Когда-то здесь был город, – говорит она. – Человеческий город.

– А где теперь все люди?

Рин не знает, что сказать.

– Они расселились по другим городам. Но городов становится все меньше.

Дочь хватается за руку и сжимает пальцы в своей теплой ладошке. Некоторое время они идут по заросшему травой и деревьями, мертвому для людей и живому для всех остальных существ городу, но через вскоре дочка издает восторженный клич и бежит к обочине бывшей дороги.

Ее внимание привлекло нечто мерцающее.

Рин подходит следом и видит остатки пластиковой коробки, в которой лежат гладкие разноцветные камушки. Приглядывается – стекло. Обычное стекло, будто бы обтесанное текущей водой, хотя до ближайшей реки много километров.

Что же они здесь делают? Кто-то нес их специально в такую даль? Но почему тогда оставил?

– Мам-мам, – дочь вновь хватается за руку. – А что это?

– Это сокровища, – улыбается Рин.

– Правда? – с сомнением спрашивает дочка.

– Конечно. Их можно обменять в ближайшем космопорте на билет до звезды.

– До какой?

– До Ро Северной Короны.

– Ого!

Она наклоняется, берет одно из стеклышек – небесно-голубое. Почти такого же цвета, как ее глаза. Чешет золотистую макушку.

– А что там? На По Северной Короны?

– Планета-океан, – улыбается Рин. – Океан огромный, и вода в нем фиолетовая.

– Давай полетим, давай полетим! – дочка обнимает ноги Рин. Та кивает.

Конечно, полетим. Обязательно полетим. Но сначала...

– Сначала мы с тобой побудем здесь. Я покажу тебе этот мир.

На мордашке проступает скептицизм.

– Разве тут интереснее, чем там?

– Конечно! – Рин заговорщически улыбается. – Здесь столько всего интересного, чего ты пока не видела, но скоро увидишь. Ты увидишь настоящих ведьм и их волшебную роцу. Старое кафе на перекрестке, я надеюсь, оно еще открыто. Робота, которому поклоняются как божеству. Зброшенный парк. Ты увидишь Свалку и библиотекаршу, которая такая же, как мы с тобой. Ты увидишь потомков моей самой дорогой подруги. Море, которое съело сушу. Ты увидишь место, где я выросла.

– Но, мам... Разве тебе не грустно?

Рин пожимает плечами.

– Может быть, и грустно. Но у нас с тобой миссия.

– Миссия? – дочка округляет глаза. – Какая?

И мы догоняем тех, кем мы станем потом,

Но не вспомнить уже тех, кем мы были до.

– Мы должны спасти мир.

– А как мы будем его спасать?

– Мы запомним все, что можем запомнить. Хорошее и плохое. Доброе и злое. То, что невозможно определить однозначно. Мы найдем таких же, как мы. Всех, кого сможем найти. Спасем все, что можно спасти. А еще мы должны рассказать, – Рин улыбается.

– Что рассказать? – спрашивает дочка, затаив дыхание.

В ее глазах то, чего не было у Рин. Она другая. Уже другая.

– Что все в этом мире бессмертно. Есть множество историй, но ни одного окончания. Пока мы живы, мир будет жить. Истории

Что было потом

будут жить. А пока будут жить истории, и мы будем живы.

Лина хмурится, потом кивает. Собирает свои сокровища в маленький рюкзачок, и они идут дальше вдвоем. Рин держит маленькую ручку в своей руке.

Они идут спасать мир.

СЕЙЧАС БУДЕТ ЧУДО

Ирина Данильянц

Сейчас будет чудо

Главное интервью писали последним. Долго настраивали свет и двигали стулья туда-сюда. Один фонарь поставили мне за спину, второй сбоку, потом переставили. В микрофоне сели аккумуляторы, целую вечность копались в рюкзаках – искали новые.

Держать батарейки под рукой. Ловить дневной свет. Не откладывать важные съемки с участием людей на конец дня. Не снимать интервью в рабочих кабинетах. Особенно сидя за столом. Особенно если человек одет в деловой костюм. Сейчас он наденет пиджак, сядет в кресло, и можно будет поставить заключительную галочку в списке «Как не надо работать».

«Я знаю этот бизнес-центр, – говорю, чтобы заполнить паузу. – Здесь была наша редакция, третий этаж».

«А жили в каком комплексе?» – спрашивает вежливо и действительно надевает пиджак, голубой в тонкую серую полоску.

В двух остановках отсюда. Ходила пешком вдоль девятиэтажек, мимо магазина «Впрок», через берёзовую аллею, сквозь тёмный подземный переход, на работу и обратно. Ходить так было довольно скучно. 20 минут по прямой. Коллеги шутили: «Зато точно не заблудишься».

«Давайте только не за столом», – оператор раскрывает чёрный зонтик и выставляет руку так, будто собирается на нём улететь.

«И пиджак, – говорю. – Лучше без пиджака».

Командировка была однодневная. Снимали весь цикл переработки мусора: пластик, металл, деревянные отходы. 3 часа туда – 2 завода, 4 производственных цеха, 12 мест съёмки, 10 интервью, необходимость разговаривать 9 часов подряд – 3 часа обратно.

Включаю в наушниках 16-минутный «ом» – на повторе, чтобы перебить шум в голове. Некурящий оператор покупает на выезде из города пачку сигарет. Одну достаёт, остальные выкидывает.

«Где ты сегодня была? – спрашивает Ира. – Что видела? А город тебе понравился? Он большой? А улицы там какие? А ночью горят фонари?»

Мы познакомились этим летом на боковушке 16-го вагона. По-

езд ехал из Улан-Удэ в Москву четыре с половиной дня. Пока я закидывала рюкзак на третью полку и стелила постель, Ира взяла у меня интервью. Оказалось, у нас много общего. Мы обе Иры, а наши братья – Гоши, мы родились с разницей в один день (и 22 года), мы обе любим мультики Миядзаки, к тому же у моей мамы и её бабушки одинаковая профессия и работа. «В ла-бо-ра-то-ри-и!» – говорила Ира так, будто речь не о районной поликлинике, а о секретном бункере для биохимических экспериментов.

Ира вообще без конца говорила. Про собаку Жулю, которая ушла из дома и заблудилась. Про тётю Любу, на которую напала ворона. Про девять белых мышей, которых кто-то принёс в школу в портфеле. Про Большую Медведицу, которая – смотрите-ка! – потеряла несколько звёзд. Истории были длинные и путанные, но всегда заканчивались счастливо: незнакомая нам собака Жуля возвращалась домой, Большая Медведица светила, а тётя Люба дружила с птицами несмотря ни на что.

Ира читала вслух, рисовала с песней, обедала под музыку. Часами обсуждала с пассажирами заоконные пейзажи: каждый столб, каждое облако и все оттенки зелёного. По утрам так подробно пересказывала свои сны, что лучше бы не засыпала. Проводница называла наш вагон «Радио Ира». Радио, от которого не спастись, не переключить волну, не приглушить звук. Только один раз мы всем вагоном играли в молчанку. Шум перешёл на новый уровень: Ира нашла мяч, вспомнила чечётку, собрала барабанную установку из фломастеров и консервных банок. «Ладно, хватит», – сказала проводница. «Слава богу, – ответила Ира. – Я чуть руку не сломала молчать!»

За три дня, что мы провели на соседних полках, Ира научила меня смотреть в звёзды, прищурившись, танцевать польку в проходе плацкартного вагона, рисовать драконов, понимать разницу между драконами и динозаврами (крылья!) и не слишком-то подглядывать, когда дело касается волшебства. «Если слишком подглядывать, – говорила Ира, – ничего волшебного не получит-

Сейчас будет чудо

ся». Ира подарила мне самодельную открытку, набор из сушки, зелёного стёклышка, камня и конфеты и одну фразу, которую я теперь часто использую: «Отходите! Сейчас будет чудо!»

После этих слов нужно свеситься со второй полки вниз головой, зацепившись ногой за серую пластиковую перекладину, или обрушиться с самого верха пачку колючих синих одеял. С этими словами я еду на самые сложные съёмки, пишу самые тяжёлые тексты и возвращаюсь домой из затяжных командировок.

Когда поезд подходил к моей станции, Ира сообщила, что теперь мы будем дружить, потому что одинаковые, и на рисунке с драконом печатными буквами записала моё имя и фамилию. В наших фамилиях совпало несколько букв, включая первую, и это, конечно, был знак. Через два дня Ира добавила меня в соцсетях.

Теперь, когда я захожу на свою страницу, там всегда есть сообщения от Иры. Сообщения бывают двух видов: «Ира спрашивает» и «Ира восхищается». Спрашивает Ира не какие-нибудь паршивые «как дела?» и «что делаешь?», а прекрасные вопросы: «Если бы тебе сказали выбрать только одну звезду из миллиона, то какую бы ты выбрала?», «Как думаешь, что самое красивое в мире?», «Что из замечательного ты сегодня видела?»

Если Ира восхищается, то будьте уверены, произошло что-то по-настоящему удивительное: появился новый вид драконов, или динозавры не вымерли, или Иру записали на балет.

Серые кубики зданий выстроились вдоль широких проспектов ровными линиями. Оператор делает пару кругов и начинает нервничать: «Всё время забываю, что здесь нет левых поворотов». Приглушаю «ом» в наушниках и киваю.

«Вообще-то, – говорит, – удобно, но выезд из города не найдёшь». Заходит на третий круг и добавляет: «Хотя ты и так знаешь. Сколько ты тут жила?»

Десять месяцев. «10 месяцев, 26-й комплекс, 8-й трамвай, 4 проспекта, 105-й универсам», – всплывает в голове, как на экранчике калькулятора. Город – как тонкая школьная тетрадь

для работ по математике. В Википедии написано: весь он спроектирован так, что не заблудишься. Больше нигде я не терялась так глубоко и надолго, как в этих цифрах, прямых углах и правых поворотах. Оператор находит выезд. Город тёмный, пустой и совсем спящий. По ощущениям – далеко за полночь. «19:15, среда, 16 принятых сообщений» – написано в телефоне.

«А что видела, когда ехала обратно? – спрашивает Ира. – А если бы учительница сказала нарисовать этот город, то какого бы он был цвета? А когда ты была маленькая, то любила танцевать? А рисовать? И если да, то рисовать что?»

Я всегда сижу впереди, потому что так не укачивает. Добавляю в наушниках звук и сползаю вниз по креслу так, что упираюсь взглядом в небо. Я смотрю прищурившись и пишу. Я пишу, что видела, как банки из-под напитков давит пресс и они становятся совсем тонкими; как деревянная стружка льётся в гигантскую ванну, как вода; как старые бахилы превращаются в мелкий синий горошек, из которого потом можно делать вёдра и тазы. Ира не верит в это чудо. «СИНИЙ ГОРОШЕК!! – кричит Ира. – Тебе так повезло!»

Что я жила в этом городе почти целый год и он не то чтобы мне нравится, но улицы там очень широкие, много воздуха, фонари горят. И если бы мне сказали нарисовать его зимой, то это был бы прямоугольник всех оттенков серого, а если летом – то зелёного, потому что деревьев там больше, чем людей.

Что танцевать я и сейчас люблю, рисую плохо, а завтра поеду с оператором снимать лошадок на ипподроме. «Лошадок! Как же тебе повезло! – восхищается Ира. – Обязательно покажи мне репортаж про лошадок».

А когда я ехала обратно, то была жутко уставшая и вымотанная, хотелось залезть в бочку и пореветь, но я видела очень много звёзд. Ты ведь жила с бабушкой на Байкале, помнишь, сколько там было звёзд? Вот и у меня было почти столько же. И я даже не знаю, какую бы выбрала из миллиона. Не знаю, но думаю, это и

Сейчас будет чудо

было самое красивое в мире.

Оператор открывает окно и включает радио. Я убираю наушники в рюкзак и закрываю глаза. «Ты счастливая, – говорит Ира. – У меня одни уроки и ничего замечательного, кроме балета. А ты такая счастливая!»



КОШАЧИЙ МЁД

Кошачий мёд - это любовь.

Только вот нельзя об этом говорить прямо, об этом можно молчать. Это не может быть написано, но может быть скрыто между строк. Это - тишина, позволяющая музыке сиять, это то, что не рождается и не умирает. Это всегда перед носом (и в носу тоже), но если начать искать - ничего не найдете!

Но только это придаёт всему высочайший смысл.

Книга перед вами - это всего лишь книга.

*И поэтому откройте кошачий мёд,
не мёд, конечно, и не кошачий,
а вселенскую безжалостную большую любовь
в самих себе.*

*Не благодаря кому-то и чему-то, а только лишь
по той причине, что вы и так - это.*

*И пусть всё будет захватывающе, ужасающе, чудесно,
вдохновляюще и яростно, здорово и вечно!*

Что бы ни происходило.

Это оно.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вконтакте: www.vk.com/koshkamed

Instagram: www.instagram.com/koshka_med

Почта: dimalisk@yandex.ru

